

МАРИЯ КРЕСТОВСКАЯ

РАННИЕ ГРОЗЫ

Мария Крестовская

Ранние грозы

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173985

Мария Крестовская. Ранние грозы:
ISBN 978-5-386-14382-4

Аннотация

Повесть «Ранние грозы» – произведение русской писательницы XIX века Марии Всеволодовны Крестовской, дочери поэта и прозаика В. В. Крестовского.

Семнадцатилетняя девушка Марья выходит замуж за тридцатилетнего чиновника. Ее новая семья богата, Марья может позволить себе любые развлечения и дорогие покупки, но девушке не хватает одного – любви.

Спустя пятнадцать лет брака Марья устает от такой жизни и заводит молодого любовника, и тем самым, возможно, разрушает свою семью и жизнь своей дочери.

Содержание

Часть первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Мария Крестовская

Ранние грозы

Часть первая

I

В кабинете настала тишина, та мучительная, тоскливая тишина, которая всегда следует за каким-нибудь тяжелым объяснением.

Муж и жена продолжали еще сидеть, по-видимому, спокойно, и в комнате слышалось только нервное дыхание Марьи Сергеевны.

Итак, все кончено!

Все, чем жили столько лет, к чему привыкли за эти долгие годы, что когда-то любили...

В руках у Марьи Сергеевны был тонкий кружевной платок, и она нервно теребила и рвала его кружева похолодевшими пальцами.

Оставалось только уйти... Но почему-то именно в эту минуту ей было тяжело это сделать, и она продолжала бесцельно сидеть на низкой турецкой оттоманке, на которую опустилась, войдя к мужу для того, чтобы переговорить с ним

в последний раз.

И вот они переговорили. И как просто все вышло, гораздо легче, нежели она ожидала...

Марья Сергеевна устало отвела глаза от догоравшего камина и искоса взглянула на мужа.

Он сидел за своим письменным столом с таким же бесстрастным и холодным лицом, как и всегда... Массивная бронзовая лампа под зеленым абажуром, озаряла стол и разбросанные на нем бумаги, освещала его лицо каким-то зеленоватым светом, придававшим ему еще большую бледность.

Марья Сергеевна пытливо взглянула в это лицо, точно желая прочесть в нем что-то, но не прочла ничего.

Даже глаза, опущенные вниз на бумаги, ничего не выдавали; только тонкая рука его, ярко освещенная лампой, как-то судорожно барабанила по столу.

И Марья Сергеевна машинально разглядывала так хорошо знакомую ей руку, на которой в эту минуту она с необычайною ясностью видела каждую жилку, морщину и даже густую тень темных волос, уходившую в глубь рукава и становившуюся к локтю все темнее. А тишина и точно вынужденное, выжидающее молчание становились все тягостнее.

Она еще раз вскинула глаза на мужа и нетерпеливо передернула плечами. Ее всегда сердила невозможность и неумение разгадывать душу своего мужа по его лицу.

Наконец, лениво, точно делая над собой усилие, она приподнялась с оттоманки и глубоко вздохнула, не то от устало-

сти, не то от невольной грусти, и тоскливо окинула взглядом весь кабинет, как бы прощаясь с ним, как бы невольно жалея, что была в нем в последний раз, и вдруг ее глаза встретились с другими, смотревшими прямо на нее со стены кабинета из золоченой рамы.

Марья Сергеевна разом вздрогнула, схватившись рукой за сердце.

Вот оно, то, что еще не обговорено между ними. Марья Сергеевна не хотела сегодня касаться этого предмета, по-женски откладывая самое тяжкое до другого, хотя бы и непродолжительного времени. Но теперь она почувствовала, что не в силах тянуть эту пытку...

Муж, подняв голову, взглянул в ту сторону, куда глядела она, и ее ужас точно отразился и на нем; молча, с каким-то болезненным выражением, смотрел он вместе с женою на улыбающуюся им из рамы детскую головку.

Кругленькое личико с обстриженными по-русски темными волосами плутовато улыбалось им, точно подсмеиваясь над ними.

– Наташа! – проговорила наконец Марья Сергеевна чуть слышно, с видимым спазмом в горле...

Павел Петрович отвел глаза от портрета дочери и еще угрюмее опустил голову. Он чувствовал на себе взгляд жены.

Она глядела на него молча, спрашивая его одними глазами, и, не говоря сама ни слова, казалось, требовала его ответа.

Кончено?! Еще несколько секунд назад она с облегченной душой думала, что все уже кончено, все выяснено! Да разве выяснено хоть что-нибудь, когда не выяснено самое главное, самое мучительное?!

А если он не отдаст ей Наташу!

Все права, и законные, и нравственные, на его стороне, но она с самого рождения своей девочки привыкла считать ее своею неотъемлемою собственностью, своим телом, своею душой, таким могучим дополнением ее собственного «я», без которого немислимо существование ее самой.

И вот на это существо, на этого «ее» ребенка другой человек, который отныне делался ей совершенно чужим и посторонним, имеет одинаковое право с нею! И даже большее! Она, жена его, бросает его теперь, после пятнадцати лет совместной жизни, уходит от него, потому что полюбила другого человека. Значит, в глазах света и перед ее собственной совестью, прав муж, а не она, и, следовательно, все права на дочь остаются за ним и отнимаются у нее.

Она крепко прижала холодные как лед руки к своей груди, точно инстинктивно хотела остановить болезненно учащенные удары сердца.

«Неужели он отнимет? Неужели отнимет?» – стучало у нее в голове.

Марья Сергеевна бессильно опустилась на стул.

Боже мой, боже мой, но о чем же она думала раньше? Все время она делала выбор между мужем и тем, кого любила, –

и только теперь в первый раз ей пришло в голову, что, может быть, выбор придется сделать не между нелюбимым мужем и боготворимым человеком, а между ее собственным ребенком и этим человеком!

Вглядываясь в лицо мужа, она чувствовала скорее инстинктом, нежели сознанием, что он не уступит ей дочь легко и без борьбы, и, тоскливо ломая руки, не сводила с него глаз.

– Павел Петрович... не отнимайте...

Слова путались и застревали у нее в горле, ей вдруг стало страшно выговорить всю фразу: что, если он ответит: «Нет!»

И с этим «нет» будет убито все, вычеркнется самая дорогая ей страница жизни! О, быть не может! Он добр, она готова умолять, унижаться перед ним, но она не выйдет из этого дома, пока он не уступит ей Наташу.

Марья Сергеевна вдруг с судорожным рыданием вскочила со стула и бросилась перед мужем на колени.

– Отдайте, отдайте ее мне... ради прошлого, отдайте!..

Она страстно ловила его руки и прижималась к ним залитым слезами лицом. Павел Петрович растерянно и сконфуженно вскочил со своего кресла и старался поднять ее, но она не вставала, впиваясь в него глазами и повторяя только: «Отдайте, отдайте».

– Ради бога, Марья Сергеевна... Встаньте... К чему это, встаньте же.

Его нервы были уже расшатаны последними днями, он

чувствовал, что ее истерический припадок заражал и его. Что-то душило его, и он, с непривычною ему злобой, вырвался от нее и насильно поднял ее с коленей.

– Сядьте! – коротко приказал он.

Марья Сергеевна, рыдая, повиновалась ему и, уронив голову на стол, судорожно всхлипывала и вздрагивала всем телом. Павел Петрович нервною, точно разбитою походкой отошел от стола и прошелся несколько раз по кабинету, искоса угрюмо взглядывая то на жену, то на портрет дочери.

Наконец, вздохнув всей грудью и точно почувствовав облегчение, он снова подошел к столу и налил стакан воды. Его рука еще дрожала, но лицо уже опять приняло спокойное, бесстрастное выражение. Он подал стакан жене.

Она слегка приподняла голову и отхлебнула несколько глотков. Рыдания ее затихали, и она медленно успокаивалась.

Павел Петрович опять тихо зашагал по кабинету и, подождав, пока всхлипывания жены совсем затихли, подошел к ней с серьезным и строгим лицом.

– Можете вы меня теперь выслушать?

В его всегда ровном голосе слышалась легкая дрожь. Марья Сергеевна молча кивнула ему с тем мутным, без всякого выражения, взглядом, который всегда появляется после истерики, и бессознательно комкала свой мокрый от слез носовой платок.

Павел Петрович, видимо старавшийся быть сдержанным,

начал довольно громко и внятно:

– То, о чем вы сейчас просили, настолько серьезно, что решить вопрос сразу невозможно. Я был так слеп, – он горько усмехнулся, – так мало ожидал чего-нибудь подобного! Но... но...

Он тряхнул головой и провел своею тонкой красивой рукой по высокому лбу, на котором поминутно выступали мелкие капли холодного пота, что случалось с ним только в минуты самого сильного волнения.

– Но речь не обо мне и даже не о вас... С этими вопросами покончено. Я уже сказал вам, что вы свободны и что я не считаю себя вправе посягать на вашу свободу. Что же касается дочери, то... Я остаюсь так одинок...

Он остановился на мгновение, и в его голосе опять что-то дрогнуло. Марья Сергеевна невольно подняла на него глаза... Она чувствовала себя бесконечно виноватой перед ним, и в душе ей было глубоко жаль его. Но он как будто понял ее сожаление и, не желая его, пересилил себя, заговорив слегка надменным и даже злобным голосом, точно этим он хотел спрятать от нее свою душу и свои чувства:

– Я разом теряю и жену, и семью... Вы не теряете ничего – вы только меняете одного на другого, старое – на новое и к тому же новое – более дорогое для вас, значит, и лучшее...

Марья Сергеевна сделала легкое движение, точно хотела прервать его, но он заметил это и заговорил еще холоднее:

– Вы опять будете любить и будете любимы... У вас опять

будет и семья, и счастье, и даже, быть может, еще дети.

Марья Сергеевна вздрогнула и опустила глаза...

– Да, и дети, – настойчиво и жестко продолжал он. – Значит, судите сами, по совести, чья же Наташа по праву? Кому с нынешнего дня должно быть тяжелее?

Он остановился на минуту напротив нее и взглянул ей прямо в глаза, как бы ожидая ответа. Но она угрюмо молчала и только еще ниже опустила голову. Тогда он опять зашагал по кабинету.

– Я знаю, что я имею все права оставить ее у себя. Но...

Марья Сергеевна радостно подняла голову и быстро вскинула на него вдруг засиявшие глаза.

– Но... Наташа, к сожалению, не трехлетний ребенок, как там! – и он тихо вздохнул, взглянув на портрет смеющейся дочери. – А потому вряд ли мы имеем право решать за нее...

Павел Петрович остановился, точно медлил, обдумывая что-то; жена, порывисто дыша, слегка даже привстала со стула, подавшись вперед, и, тяжело опершись рукой на край стола, глядела на него внимательными глазами...

– Наташе уже четырнадцатый год, у нее уже начал складываться свой характер, свои желания, своя жизнь, и распоряжаться этой жизнью, соображая ее только с нашими чувствами, будет с нашей стороны и нечестно, да и бесполезно. Рано ли, поздно ли, нам, вероятно, пришлось бы раскаяться в своей ошибке.

Он замолчал. Марья Сергеевна все еще стояла в своей на-

пряженной позе, робко вслушиваясь в его слова, но не вполне усваивая их смысл.

— Ну, что же? — проговорила она наконец, видя, что он не продолжает.

— Дело в том, — Павел Петрович как будто смутился немного, — видите ли... Я не знаю, известно ли ей...

Он не договорил, но Марья Сергеевна поняла его. В сущности, она не знала и сама, что и сколько известно ее девочке, но она чувствовала уже давно по изменившимся отношениям, по бесконечным мелочам, что дочь инстинктивно о многом догадывается и понимает...

— То есть что? — бессознательно спросила она, отвечая больше на свои мысли, чем на его вопрос.

Павел Петрович нетерпеливо передернул плечами. Неужели у нее настолько нет такта, чтобы не задавать ему такого тяжелого вопроса. Что!.. Как будто он может знать лучше нее.

— Я думаю, что она многое понимает; конечно, я не могла быть с нею откровенною...

Она покраснела и начала опять щипать кружева своего платка.

Он прервал ее:

— Знает она, что мы разъезжаемся?

— Я ничего не говорила ей об этом, но мне кажется, что она догадывается об этом.

— Да? — Он задумчиво посмотрел на портрет дочери. — В

таком случае она должна это узнать сегодня же, наверное, и тогда... И тогда она сама решит, с кем ей остаться... В этом деле ее голос должен быть главным и решающим, потому что оно ближе всех касается именно ее...

Марья Сергеевна измученно опустилась на стул. Она не знала, радоваться решению мужа или нет... За последнее время между ней и обожавшей ее прежде дочерью установились какие-то странные отношения, и девочка начала как будто охладевать немного в своей страстной любви к матери и даже чуждаться ее.

И в эту минуту, когда выбор должен быть сделан окончательно, эти отношения, под влиянием страха, казались Марье Сергеевне еще худшими, нежели были на самом деле. Она чувствовала бы себя намного более спокойной и счастливой, если бы могла, помимо всякого участия дочери в этом деле, просто взять и увезти ее с собой.

Павел Петрович подошел к столу и позвонил.

Марья Сергеевна вздрогнула.

– Что вы хотите делать? – тревожно спросила она.

– Послать за Наташей.

– Как, сейчас?!

Это «сейчас», которым решится все и после которого уже, действительно, все кончится, вдруг охватило ее всю таким ужасом и тревогой, что она готова была умолять мужа об отсрочке решения хоть на несколько еще дней.

Потерять, быть может, и последнюю даже надежду сейчас

же она была не в силах.

Ей вдруг вспомнилось, что она еще сегодня утром сделала дочери за что-то выговор, быть может, это рассердило Наташу, быть может, она и теперь еще сердится на нее... Ей невольно вспомнились глаза дочери, которые с каждым днем глядели на нее все холоднее... О, если бы впереди было хоть несколько еще дней! И с чисто женскою хитростью Марья Сергеевна придумывала, как за эти дни ей задобрить дочь и войти с ней в прежние отношения.

Но Павел Петрович точно угадал ее мысли и понял этот молящий взгляд ее прекрасных глаз, когда-то так любимых им.

– Лучше покончить разом.

Вошла горничная с вопросом: «Что прикажете?»

– Попросите сюда барышню. Скажите, что я прошу ее прийти сейчас же.

Горничная вышла.

Марья Сергеевна вдруг опять глухо зарыдала и бессильно упала в кресло.

II

Феня, шурша накрахмаленными юбками своего розового ситцевого платья, вошла в комнату барышни, которую все еще, по старой привычке, продолжали называть детской.

Барышня сидела у маленького столика, низко наклонив

над книгой темно-русую головку, причесанную по-гимназически в одну косу с черным бантом.

Лампа слегка освещала ее профиль с совершенно теми же чертами, что и у отца, только более тонкими, по-женски смягченными и не потерявшими еще детского, слегка округленного контура.

– Пожалуйте к папаше.

Наташа испуганно вздрогнула, как человек, которого разом оторвали от занятий.

– Что?

– К папаше пожалуйте.

Она все еще не совсем пришла в себя и, казалось, мало понимала, что говорила ей Феня. Слова «к папаше» удивили ее: он в такие часы редко отрывал ее от занятий – для этого должно было случиться что-нибудь особенное.

– К папаше? – повторила она с удивлением. – Зачем же?

Феня слегка усмехнулась на вопрос барышни.

– Уж этого не знаю-с, мне не сказывали – позвонили только и велели позвать вас.

Наташа посмотрела в лицо Фени. Какое-то неясное предчувствие шевелилось в ее душе.

Феня помолчала с секунду и вдруг тихо добавила, точно поясняя этим что-то:

– И барыня там.

– Мама!

Внезапный, жуткий холод охватил Наташу.

– Плачут-с... – совсем уже таинственно шепнула Феня.

Теперь Наташа смутно начала угадывать что-то тяжелое, страшное.

– Ну хорошо, иди; я сейчас.

Она подождала, пока Феня вышла; ей не хотелось, чтобы горничная что-нибудь поняла по ее испугу. Когда дверь за Феней затворилась, Наташа тревожно поднялась со стула.

«Вот оно, началось...»

И по лицу ее вдруг разлился совершенно детский страх, и ей очень захотелось заплакать.

– Господи, Господи! – вдруг зашептала она, быстро и порывисто крестясь маленьким крестиком, висевшим у нее на шее на тоненькой золотой цепочке, совсем так же, с тем же тревожным выражением, с каким крестилась, бывало, в гимназии во время экзаменов, когда ее «вызы вали».

– Господи, Господи, помоги мне, помоги!.. – шептала она, прижимая к горячим губам маленький крестик и взглядывая полными слез глазами в угол комнаты, где над ее постелью теплилась лампадка перед иконой Божией Матери...

Пройдя через комнату матери в гостиную и большую залу, куда выходил кабинет отца, Наташа на мгновение остановилась перед его дверью.

Сердце ее сильно билось, и она стояла, пугливо прислушиваясь, у двери, боясь и не решаясь сразу отворить ее.

В кабинете все было тихо, по-видимому, «они» молчат... Верно, ждут ее!

– О Господи, Господи! – Она перекрестилась в последний раз и резко отворила дверь.

Отогнутая тяжелая портьера тихо зашуршала. Марья Сергеевна рванулась к дочери, но Павел Петрович остановил ее легким движением руки.

Наташа, вся бледная, серьезным взглядом окинула мать и отца.

Да, да, это то, о чем она думала...

На мгновение в кабинете опять настала мучительная тишина, никто не начинал первый, точно каждый бессознательно старался оттянуть хоть на мгновение страшный вопрос. Павел Петрович, с угрюмым лицом и согнувшись всем корпусом, как будто страшная тяжесть давила его, сидел опять в своем большом кресле у письменного стола.

– Видишь ли, Наташа, мы позвали тебя... – начал он, несколько запинаясь и не глядя ни на дочь, ни на жену. – Обстоятельства складываются так, что мы... с Марьей Сергеевной должны... жить порознь, – договорил он твердо и резко. – Ты знаешь, Наташа, что мы оба любим тебя, и нам одинаково трудно расстаться с тобой, но... Один из нас двоих все-таки должен с тобой расстаться...

Голос его, несмотря на видимые усилия, слегка дрожал и прерывался. Он мельком, стараясь побороть себя, взглянул на дочь. Она стояла все так же молча, придерживаясь рукой за кресло, и только по ее побледневшему личику покатались вдруг крупные слезы.

– Если бы тебе было пять-шесть лет, мы бы решили это без тебя. Но теперь ты уже не ребенок, у которого привязанности почти бессознательны... И потому... ты должна решить сама, с кем... с кем ты хочешь остаться...

И он замолчал, остановив пристальный взгляд на дочери.

Марья Сергеевна тоже впилась в нее жадными страдающими глазами.

Теперь от этой девочки в коротком гимназическом платье и черном переднике, почти ребенка, зависела участь двух людей: и каждый из них ждал с мучительной тревогой и болью, что она скажет. Но она молчала, и ни одна складка не шевелилась на ее платье; казалось, она вся застыла, и только по ее побледневшему и вдруг точно состарившемуся лицу продолжали беспомощно, по-детски, катиться крупные слезы.

Прошла почти минута, мучительная и бесконечная в этом напряженном ожидании...

Павел Петрович слышал чьи-то глухие удары сердца и машинально прислушивался к ним.

Наконец он точно опомнился и, встряхнув головой, провел рукой по лбу.

– Быть может, Наташа, – заговорил он тихо, – ты подумаешь и скажешь завтра, послезавтра... Это зависит от тебя, дитя мое...

Марья Сергеевна благодарно взглянула на него; пусть лучше еще несколько дней надежды, чем конец разом. Каждый

из них со страхом ожидал, что дочь выберет другого, и в то же время в глубине души каждого жила невольная надежда, что дочь останется именно с ним.

– Лучше подождать! – повторил как-то робко и неуверенно Павел Петрович.

Наташа тихо покачала головой.

Она так много уже думала об этом, так боялась и страдала, ожидая этого момента, что в душе давно уже решила, что ей делать и с кем оставаться. Если она молчала и медлила, то не потому, что не знала, что ей сказать, а только сознавая, что своим ответом одному из страстно любимых ею, самых дорогих для нее существ она причинит столько горя...

«Подождать! О нет, нет, пускай лучше все кончится разом. Все равно...»

Она растерянно и тоскливо оглянулась по сторонам, точно ища себе в чем-то поддержки, и в этот миг встретила глазами с отцом. И вдруг в ней разом что-то словно оборвалось, и с мучительным, отчаянным воплем она кинулась к нему всем своим трепещущим и вздрагивающим от рыданий тельцем. Страстно обнимая его, она целовала его голову, руки, глаза и обливала его слезами...

Он понял все.

Она бросилась к тому, кого оставляла. И этими нежными ласками она точно молила о прощении себе, точно хотела заставить его понять, как горячо она его любит, как тяжело ей бросать его... И, рыдая, она прижималась к нему, как будто

хотела смягчить тот страшный удар, который сама же ему наносила...

III

Павел Петрович увел дочь в ее комнату и помог ей успокоиться. Наташа тихо всхлипывала, прижимаясь горячими губами к его рукам, и изредка поднимала на него глаза. Марья Сергеевна растерянно стояла в стороне от мужа.

Ее дочь уходила вместе с ней, но в сердце этой дочери не нашлось для нее ни одного ласкового взгляда, ни одного теплого слова, и мать ревниво следила за ласками дочери к отцу, точно мысленно считала их.

В эту минуту ей показалось, что она больше бы хотела быть на месте мужа, и только сознание, что эти ласки временные и последние, что потом Наташа уже всецело будет принадлежать ей одной, слегка успокаивало и утешало ее.

Она хотела бы сейчас же броситься к дочери, обнять ее, прижать к своей груди и целовать ее всю, как целовала, бывало, маленькую, за то, что Наташа выбрала ее и оставалась с нею, но что-то удерживало Марью Сергеевну, словно ласки ее и благодарность казались ей неуместными.

Но все-таки она сделала робкую, неуверенную попытку и, подойдя к дочери ближе, хотела взять ее за руки, но Наташа, заметив ее, опять зарыдала сильнее.

Павел Петрович, искоса взглянув на жену, встал и прого-

ворил тихо, чтобы Наташа не расслышала его:

– Ее лучше оставить одну, она скоро успокоится, не говорите с ней...

Он чувствовал в дочери свою натуру и знал по себе, что самое лучшее в тяжелые минуты – быть одному. Он еще раз обнял плачущую дочь, заботливо перекрестил ее, поцеловал и, сказав: «Ложись спать, деточка, и успокойся, все устроится...», вышел из комнаты вместе с женой.

Для того чтобы выйти в другие комнаты, ему необходимо было пройти через спальню и будуар жены, и это было ему тяжело. Марья Сергеевна поняла его чувство и тихо шла за ним с виноватым и смущенным выражением лица.

Он хотел пройти скорее, не останавливаясь ни на мгновение. Тут все напоминало ему бывшее; ему хотелось бы закрыть глаза, чтобы не видеть ничего, вызывавшего в его душе столько воспоминаний, а между тем что-то почти невольно заставляло его бросать торопливые и быстрые взгляды на окружающие его, так хорошо знакомые ему предметы. Он успел уже подойти к двери и раскрыть ее голубую шелковую портьеру, как Марья Сергеевна вдруг тихо окликнула его:

– Павел Петрович!..

Он быстро обернулся к ней и окинул ее удивленным и вопрошающим взглядом.

Марья Сергеевна сознавала, что этот человек был с ней гораздо великодушнее, нежели она ожидала, нежели она могла ожидать... Четырнадцать лет жизни с ним промелькнули в

ее памяти... Спокойные, безмятежные и даже счастливые...

И в эту последнюю минуту ей невольно хотелось сказать ему... Что именно, она и сама не знала, но что-то теплое, хорошее, задушевное... Сказать, как сильно благодарна она ему и за прошлое, и за последнюю его жертву... Но то, что в душе ее чувствовалось так просто, она не умела выразить словами... Всякое слово казалось ей пошло, неуместно и совсем не выражало того, что она чувствовала... И она замолчала, глядя куда-то в пространство, мимо лица мужа, точно боясь встретиться с ним глазами.

Павел Петрович повторил не расслышанный ею вопрос:

– Что вам угодно?

– Нет, нет, ничего!

Она смущенно сознавала, что не сумеет передать ему словами то, что думала, что так хотела бы сказать ему.

– Я хотела... Хотела... Поблагодарить вас за все, за все... – быстро и как-то по-детски начала она, все избегая его взгляда. – Это так трудно выразить... Я не знаю... Но, – она вдруг быстро подошла к нему и, взяв его за руку, крепко сжала ее, – я знаю, что никогда не буду уже так счастлива... так спокойна, как была с вами... Вы хороший... хороший человек...

Павел Петрович тихо отвел ее руку от своей; он не хотел ни ее благодарности, ни сожаления, ни сочувствия и, главное, не хотел ни на одну секунду поддаться слабости. Ее задушевный голос, теплое прикосновение ее маленькой, ко-

гда-то так любимой руки невольно трогали его... Пока она говорила, он сухо и молча глядел на нее своими холодными глазами, в которых не видно было ни горя, ни любви, ни страдания... Глядел и не видел ее.

Вот голубой фонарик, который он привез ей лет шесть назад на Пасху; вот маленький диванчик, на котором он, бывало, так любил отдохнуть у нее после рабочего дня; вот резная жардиньерка, они вместе покупали ее...

– Все уже кончено, – холодно заговорил он, – и бесполезно поднимать снова слишком тяжелые разговоры... Ни вам, ни мне не будет от этого легче... Помните одно – я требую развода. Вы должны выйти замуж... для дочери... Иначе ей нельзя будет оставаться у вас... Если он любит вас, – Павел Петрович горько усмехнулся, – то, конечно, он и сам будет рад честным образом покончить все недоразумения.

Павел Петрович уже хотел уйти, но жена стояла перед ним такая жалкая и убитая, что ему вдруг инстинктивно, каким-то точно предчувствием, стало глубоко жаль ее, и он добавил уже гораздо мягче и теплее:

– Во всяком случае, я от души буду рад, если вы будете счастливы; дай Бог, чтобы... чтобы вам никогда не пришлось ни раскаяться, ни пожалеть.

Голубая портьера, тихо колыхнувшись, мягко упала за ним и отделила его от нее.

Марья Сергеевна тоскливо глядела вслед мужу.

– Ни пожалеть, ни раскаяться, – повторила она его слова. –

Бог весть...

Тупая, но щемящая тоска томила ее.

Она машинально опустилась на мягкий диванчик и долго просидела так – без слов, без движения, без мысли. Потом, точно очнувшись, вздрогнула, поднялась с дивана и осторожно прошла в комнату дочери.

Огонь уже был потушен, и синяя лампада мерцала в углу, разливая дрожащий полусвет в комнате.

Марья Сергеевна постояла несколько секунд, тревожно прислушиваясь к дыханию дочери.

– Ты спишь, Наташа? – тихо окликнула она.

Ответа не было; только огонек в лампадке тихо вспыхивал и мерк. Марья Сергеевна подошла к кровати и опустилась перед ней на колени.

В тени ей не видно было лица девочки, и только контуры ее тела мягко обрисовывались под белым пикейным одеялом.

Марья Сергеевна тихо прильнула пересохшими губами к горячему лбу Наташи. Ей хотелось бы, чтобы девочка проснулась и взглянула на нее, сказала бы ей что-нибудь... Тоска, боль и какой-то страх, беспричинный и неясный, все сильнее терзали ее, и ей хотелось, рыдая, молить о прощении себе у этого чистого существа.

– Наташа... Наташа... – тихо окликала она, но девочка спокойно спала с серьезным и строгим лицом.

Мать задумчиво глядела на нее несколько минут, точно

что-то вспоминая, что-то предчувствуя...

Наконец она тихо приподнялась с коленей, долго крестила дочь и, поцеловав ее в последний раз, осторожно вышла из комнаты и заперла за собой дверь.

IV

Лампадка мерцала, и дрожащие тени ползали, мерцая, по полу и по стенам детской.

В одном уголке приютилась детская кроватка с длинным кисейным пологом, вся беленькая, чистая и какая-то таинственно выделявшаяся в полумраке.

В этой кроватке Наташа спала еще до поступления своего в гимназию и ни за что не хотела расставаться с ней и переходить в «большую», хотя из этой давно уже выросла. Ей нравилось, всей уютно скорчившись и поджав колени к самой груди, свернуться клубочком и сладко засыпать в ней, закрытой со всех сторон прозрачной кисеей.

Еще совсем, бывало, маленькой девочкой она укладывалась на ночь вместе с собой и свою любимую куклу и, крепко прижимая ее к груди, лежала с широко раскрытыми глазами, боязливо вглядываясь в глубину комнаты, казавшейся ей сквозь легкий туман полога и в слабом мерцании лампы какую-то фантастической и сказочной.

Наташа никогда не была особенно резва и шаловлива. В ее детской душе с самого раннего возраста устроился какой-то

совершенно особенный внутренний мирок. Вместо того чтобы бегать в пятнашки и играть в мяч, она целыми часами засиживалась над сказками и книгами с картинками, вся раскрасневшаяся, с блестящими глазами, боязливо вздрагивая от каждого шороха. В этих картинках Наташа своим детским воображением умудрялась отыскивать гораздо больше, чем они давали. Маленькие звери, птицы и деревья, изображенные там, принимали в ее фантазиях гигантские размеры и превращались в живую действительность. Маленькие пальмочки и азалии, стоявшие на окнах детской, начинали казаться ей великанами. Желтый паркет превращался в целую песчаную пустыню, где маленький домашний котенок оказывался вдруг тигром, делавшим страшные скачки и злобно искавшим себе добычу. И девочка, входя в игру, с ужасом прятала и спасала от него свою любимую куклу. Птички на обоях вдруг оживали для нее и перелетали, порхая, щебеча и звонко распевая, с ветки на ветку; она начинала тихонечко пощелкивать языком, подделываясь под птичье щебетанье, и страшно рычала вместо котенка, не узнавая и пугаясь собственного голоса. Котенок, расшалившись вместе с ней и чувствуя, что с ним играют, начинал грациозно заигрывать со своей госпожой, прыгая за ней по стульям и диванам и ошетиниваясь на нее с грозным видом. В детской поднималась страшная возня. Котенок прыгал и кувыркался, а госпожа, как сумасшедшая, бегала и, спасаясь от него, бросалась во все углы, залезала даже под кровать и диван, отчаянно

взвизгивая и крича.

На шум отворялась дверь, и входила Марья Сергеевна. Наташа бросалась к ней с громким криком.

– Тигр!.. Тигр, мамочка!.. – кричала она, заливаясь испуганным и взвизгивающим хохотом и пряча голову в материнские колени.

Марья Сергеевна сразу не понимает, в чем дело.

– Да ведь это Васька! Котенок! – говорит со снисходительной улыбкой Марья Сергеевна, той улыбкой взрослого человека, которая невольно появляется у больших, когда они говорят с маленькими. – Посмотри же!

Марья Сергеевна берет котенка и подносит его маленькое, пушистое, теплое извивающееся тельце к самому личику дочери. Но Наташа испугано взвизгивает и еще глубже прячет свой носик в складки материнского платья.

Девочка вся раскраснелась, глазенки ее блещут и горят, а на лбу и около шеи выступили даже влажные капельки пота. Вся она трепещет и вздрагивает от хохота, барахтается и даже брыкает ногами. Марья Сергеевна видит, что дочка совсем расшалилась, что теперь уже не успокоишь ее сразу и, целуя, поднимает ее и уносит с собой.

– Нет, мама, я сама, сама!

Девочка хочет соскользнуть с рук матери, вырываясь от нее, но Марья Сергеевна крепко держит ее и с торжеством вносит в столовую.

– Вот вам, папа, ваша буйная дочка! – говорит она, смеясь

счастливыми глазами, и опускает дочку на колени к мужу.

Наташа быстро соскакивает. Ей ужасно совестно, она вся покраснела и готова даже расплакаться, хотя в то же время ей и смешно, и она сама не знает – плакать ей или смеяться.

– Ну, садись, садись, девчурка! – говорит Павел Петрович, придвигая ей стул.

Наташа вдруг стихает и принимает солидный вид взрослой барышни. Она степенно снимает салфетку с тарелки и с серьезным видом начинает откусывать маленькими кусочками нижнюю корочку хлеба, «как папа».

Ей уже скоро шесть лет, и потому в спокойные минуты она искренне считает себя «большой девочкой».

Ей это очень нравится, и, когда ее спрашивают, сколько ей лет, она со строгой важностью объявляет:

– О, я уже большая, мне седьмой год.

Она ни за что не скажет «мне шесть», а непременно «седьмой»; это как-то важнее, и потому ей нельзя нанести большего оскорбления, чем взять ее на руки «точно маленькую».

– Ну, что поддельвала сегодня, девчурка? – начинает расспрашивать ее отец.

Отца она немножко дичится; в душе они очень любят друг друга, но говорить между собой не умеют.

Павел Петрович несколько раз принимался говорить с ней, поддельваясь под ее тон, даже не раз принимал участие в ее играх; только из этого ничего не выходило: девочка отвечала неохотно и смущенно, а к его играм относилась с ка-

ким-то недоверием.

– Отчего же ты не хочешь играть с папой? – спрашивала, бывало, Марья Сергеевна.

– Да я, мамочка, не умею.

– Как же это так, не умеешь? Ведь со мной же умеешь, и с няней умеешь, и даже одна...

– Так ведь то, мамочка, в самом деле...

– То есть как это – в самом деле? – недоумевает слегка Марья Сергеевна.

– Ну, да, когда я с тобой играю, или с няней, или одна... ну, как это?.. Я не знаю...

Девочка краснеет и запинаясь с виноватым и смущенным лицом, не умея подыскать точного слова.

– Тогда мы по-настоящему играем...

– А с папой разве не по-настоящему?

Наташа чуть не плачет, она не умеет выразить ясно эту тонкую разницу.

Отец серьезен, всегда занят и на вид немного холоден. Наташа привыкла видеть его всегда за бумагами и слышать: «Наташа, тише, не шуми, папа занимается!» И потому видеть его играющим ей как-то странно и смешно. Она улыбается, когда он начинает бегать и прыгать вокруг стола и представлять медведя, чтобы позабавить ее, но улыбается так, как улыбаются взрослые на игры детей. Взрослые знают, что дети «только играют», то есть проделывают все это нарочно, а Наташа знает, что отец именно тем и портит игру, что «на-

рочно играет». Она чувствует, что эта игра не увлекает его, как увлекается она сама своими играми, и это невольно расхолаживает ее.

Ей даже делается почему-то совестно, тогда как с матерью она возится целыми часами, бегает, кувыркается, визжит и всей душой входит в игру.

После обеда Павел Петрович, поцеловав жену и дочь, уходит к себе в кабинет заниматься.

Наташа бежит вместе с матерью в комнату Марьи Сергеевны. Эту комнатку они обе очень любят. Она такая вся хорошенькая, уютная, мягкая... Марья Сергеевна садится за какое-нибудь вышивание перед рабочим столиком на маленький диван. Лампа с белым колпаком обливает ярким светом только доску стола да пестрые узоры на канве в белых, с голубыми жилками, руках Марьи Сергеевны. Остальная комната тонет в мягком полусвете.

Наташа притащит на этот диванчик все свои книги и любимых кукол. Ей хочется, чтобы все были вместе, и она, плутовато косясь на мать, забирается за ее спину в самый уголок дивана с ногами, чтобы не так страшно было. Тут ей так хорошо, тепло, уютно, и, грызя свои леденцы и яблоки, она вполне счастлива своим детским нетребовательным счастьем.

Котенок Васька также вдруг откуда-то появляется и всегда вспрыгнет на диван так тихо и неожиданно, что Марья Сергеевна и Наташа невольно вскрикнут; высоко подняв свой

пушистый хвост, он начинает ласкаться к ним, громко мурлыча и назойливо подставляя свою полосатую мордочку с розовым носом прямо к их лицам.

– Пусти, Васютка, – говорит Марья Сергеевна, а Наташа тихо смеется и щекочет ему за ухом.

Васютка, выбрав себе, по-видимому, уютное местечко, укладывается наконец и, свернувшись клубочком и лениво прищуривая на огонь глаза, продолжает блаженно мурлыкать. Он каждый раз норовит присоседиться где-нибудь на плечо или на коленях Наташи.

– Ах, мама! – вскрикивает, как будто с недовольным видом, Наташа. – Он опять ко мне на шею забрался!

– Ну, сгони его! – говорит Марья Сергеевна.

Но Наташе, в сущности, это очень нравится, она не хочет сгонять его. Он такой теплый и так смешно мурлычет у нее под самым ухом.

– Ну, уж пускай его! – снисходительно разрешает она.

– Ну, а чего же ты утром боялась его? – вспоминает Марья Сергеевна.

– Да он утром, мамочка, тигр был, страшный такой.

– Ах ты, девчурка глупая! – смеется мать.

Наташа заваливается совсем за спину матери; из-за рук Марьи Сергеевны видно только с одной стороны беспокойные ножки, а с другой – смеющееся плутоватое личико девочки.

– Ну, мамочка, рассказывай что-нибудь! – уговаривает

она мать просящим тоненьким голоском.

– Что же тебе рассказать?

– Что-нибудь, мамочка, милая, ну, пожалуйста... Ну, хоть старое что-нибудь.

Наташа страстно любит эти вечерние рассказы матери.

Марья Сергеевна, начавшая со сказок, перешла мало-помалу в своих рассказах к живым людям, к биографиям своих бабушек, тетюшек, сестер и к воспоминаниям собственного детства. Ей самой нравится перебирать эти давние странички своей жизни. От них веет чем-то таким далеким, почти позабытым и наполовину уже исчезнувшим, но все-таки милым и интересным для нее: особенно годы молодости вспоминаются всегда такими свежими, отрадными, счастливыми, хотя в то время они, быть может, совсем и не были так счастливы и отрадны.

Чем больше рассказывает Марья Сергеевна, тем и вспоминается все больше, все яснее. Кажется, вся жизнь, шаг за шагом, картинка за картинкой, бежит перед нею и вновь переживается ею.

Наташа слушает с потемневшими из-за расширившихся зрачков глазами, с ярко разгоревшимся лицом. Ее воображение страшно работает, люди и картины плывут перед ней совсем ясными, живыми. Иногда она прерывает каким-нибудь вопросом:

– А тетя Лиза с вами тогда жила?

– Тети Лизы тогда еще совсем не было! Наташа поража-

ется.

– Совсе-ем не было? – протяжно удивляется она. – А где же она была?

– Она еще не родилась в то время.

Наташа несколько мгновений молча смотрит на мать, точно о чем-то думает.

– А дядя Петя был?

– Петя был; он уже учился тогда в гимназии и только на лето приезжал к нам. Такой кургузый был, краснощекий и перед нами, девочками, ужасно важничал своим мундиром! А раз он нашалил что-то, и с него в наказание сняли мундир, и он целую неделю ходил в курточке и панталонах. То-то уж мы над ним смеялись – за все его важничанье ему отплатили.

Наташа задумчиво смотрит куда-то вдаль.

– Как странно, – тихо говорит она, – дядя Петя, и вдруг в курточке, тети Лизы совсем не было, а теперь есть... Тебя, мама, сначала тоже не было?

– Конечно, мой ангел.

– И папы? И бабушки?

– И папы, и бабушки...

– А было когда-нибудь, что совсем, совсем никого не было?

– Да, девочка, сначала и земли не было, и людей не было, Бог потом все сотворил; вот будешь учиться, все узнаешь.

– Где же все это, мамочка, было?

Часто Наташа задает такие вопросы, на которые Марья Сергеевна не всегда находит ответы.

– Ну, слушай дальше!

Но у Наташи уже образовался свой ход мысли, и вопросы интересуют ее теперь больше рассказов о тете и бабушке.

– Ну, а вот дедушка был, а теперь его нет! – восклицает она, по-видимому все еще занятая своими мыслями.

– Дедушка умер и пошел к Богу!

– К Богу, это на небо, значит?

– На небо.

– Мама, как же говорят: Бог далеко и высоко; ведь Он же на небе, а ведь небо видно, а если что далеко, так нельзя видеть. Как же это?

– Бог везде, милая, и на небе, и на земле. Не прерывай же меня, если хочешь слушать.

– Ну, хорошо, хорошо, не буду, рассказывай, мамочка, дальше.

Но через минуту она опять прерывает мать:

– Мама, на небе никогда никто не был?

– Никто.

– И никак нельзя попасть?

– При жизни нельзя, а после смерти все, кто праведно жили, там будут.

– Там, мамочка, верно, очень хорошо. Ты, мамочка, не знаешь, как там? – задумчиво моргая глазами, говорит она.

– Этого никто, дитя мое, не знает.

– Ну, хоть немножечко не знаешь ли?

– Да слушай же, Наташа, а то я перестану.

– Нет, нет, мамочка, я не буду больше, ни одного словечка не буду.

Марья Сергеевна опять начинает прерванный рассказ, Наташа мало-помалу входит в него и снова интересуется бабушками и тетушками, но вдруг она начинает хохотать.

– Чего ты? – удивляется Марья Сергеевна.

Но Наташа заливается раскатистым хохотом и даже не может говорить.

– Я, мамочка, все думала, какая это бабушка маленькая была, и вдруг она показалась мне!.. Смешная, смешная такая, лицо старое, как теперь, и очки также, а платице коротенькое, и сама маленькая, и панталончики...

Марья Сергеевна невольно улыбается: бабушка в таком виде кажется и ей ужасно смешной...

– И вдруг, мамочка, ее мама на нее рассердится и велит ее высечь!

И Наташе так живо представляется картина, как секут бабушку, что она начинает даже захлебываться от хохота. Марье Сергеевне и самой смешно, но она старается внушить дочери, что над старшими смеяться грешно.

– Как нехорошо, Наташа! – говорит она, стараясь сказать строгим голосом. – Я рассержусь на тебя.

– Ну, мамочка, мамуся, милая, не надо, ведь это же смешно, правда, ведь смешно? Да?!

– Ну, полно, полно.

Но через мгновение она стихает и опять задумывается о чем-то.

– Мамочка, ведь все люди должны быть сначала маленькими?

– Конечно все.

– Ни одного не было прямо большого.

– Ни одного!

– А потом стариками? Да?

– Да, если доживут!

На минуту воцаряется тишина. Наташа о чем-то думает. Марья Сергеевна считает крестики своего узора. Наташа сбила ее и со счета, и с нити рассказа.

– Я вдруг старуха, а бабушка маленькая – как странно! – задумчиво начинает Наташа опять. – Мама, а какая я буду старухой? А? Посмотри, такая? Да? Похожа?

Она морщит всю свою мордочку и выдвигает вперед нижнюю губу, стараясь изобразить на своем лице старческую физиономию.

– Похоже?.. Мамочка, смотри! – говорит она, шепелявя и трясая головой...

Марья Сергеевна не выдерживает и, взяв ее головку в обе руки, нежно целует ее в сморщенный носик. Наташа обхватывает ее руками и прижимается к ней.

– Ты тоже, мамочка, старухой будешь?

– Тоже!

– Неправда! Ты красавица, ты всегда красавицей будешь! Да, да! Скажи да, мамочка! Пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты старухой была.

– Ну да, да! Я еще не скоро старухой буду, не бойся!

– Нет, совсем не надо!

– Совсем нельзя.

Наташа внимательно и задумчиво рассматривает лицо матери, лаская его руками и целуя ее глаза, лоб, щеки и рот.

– Ну, хорошо, будь старухой, только не скоро, очень не скоро; вот что, вместе со мной, когда я буду старухой, тогда и ты, хорошо? Ах, мамочка, как это смешно будет: мы будем две бабушки, старенькие, седенькие такие...

Марья Сергеевна смеется:

– Ох, уж действительно, это очень не скоро! Когда ты бабушкой-то будешь, меня и на свете тогда не будет.

– Как не будет? – огорчается Наташа. – А где же ты будешь?

– Где? Умру, как дедушка.

– Мамочка!

И Наташа с громким криком бросается к матери и обхватывает ее руками, прижимаясь вся к ней, точно боясь, что Марья Сергеевна сейчас же уйдет от нее. Смерть матери так страшно пугает ее, кажется ей такою ужасною и невероятною, что она тут же начинает плакать. Марья Сергеевна, встревожившись ее слезами, нежно утешает ее, но девочка, прижимаясь к ней ближе, горько всхлипывает:

– Я не хочу... Не надо... Мамочка, милая... Пожалуйста... не надо...

– Да нет, глупенькая; ведь это не скоро еще будет...

– Совсем, совсем... не надо... я не хочу...

– Ну, хорошо, хорошо, мордочка моя, совсем не умру.

– Мы вместе... вместе, в одну минуту... пожалуйста, мамочка... Да?... Хорошо?

– Ну хорошо, давай вместе помирать!

И она улыбается своей девочке с любовной тихой лаской и нежно качает ее на руках, точно баюкает.

Мало-помалу Наташа успокаивается. Марья Сергеевна хочет достать ей в утешение из комода грушу, но после подобных предположений Наташа уже не отпускает ее и не отходит от нее ни на минуту. Она бежит в течение целого вечера, шаг за шагом, вслед за матерью, держась даже за ее платье, точно боится, что Марья Сергеевна умрет сейчас же. И после подобных разговоров они становятся еще нежнее друг к другу.

И мать, и дочь страстно любят эти вечера, для них это самое лучшее время дня, и они обе с нетерпением дожидаются вечера, но по-разному. Наташа – нетерпеливо и сознательно мечтая о них, Марья Сергеевна – спокойно и скорее бессознательно...

Темы беседы никогда не истощаются. С каждым годом рассказы и воспоминания подходят все ближе к переживаемой эпохе, и Марья Сергеевна с удовольствием думает, что,

когда Наташе минет семнадцать-восемнадцать лет, воспоминания разрастутся, разговоры станут еще задушевнее. Эта привычка – делиться с дочерью всем, посвящать ее в каждый маленький уголок своей жизни – дает возможность и самой Марье Сергеевне как бы еще раз пережить всю жизнь.

V

Наташа быстро развивалась; у нее никогда не было подруг и товарок-однолеток, ее единственной, но зато постоянной подругой была ее мать. Эта дружба со взрослым человеком невольно развила ее быстрее и приучила чувствовать и думать по-взрослому раньше, чем в большинстве случаев начинают другие дети.

Когда Наташа поступила в гимназию, то их образ жизни отчасти переменился. По вечерам больше рассказывала сама Наташа, а не Марья Сергеевна. Множество новых лиц и впечатлений охватили девочку. Ее все интересовало и занимало. В течение дня она замечала мельчайшие подробности своей новой гимназической жизни и вечером спешила делиться ими с матерью. Потом они вместе садились за уроки. В отношении Марьи Сергеевны Наташа была бессознательно деспоткой. В своей любви к матери она доходила до полного обожания, но зато и не хотела ни на минуту расставаться с ней.

Куда бы мать ни шла, что бы она ни делала, Наташа непре-

менно хотела «вместе». Даже свои вечерние уроки она хотела готовить непременно вместе. «Мамочка, мы вместе», — просила она требовательным тоном избалованного ребенка, который знает наперед, что ему не откажут. Марья Сергеевна, действительно, почти ни в чем не могла отказать ей; и если бы к девочке не перешла по наследству кротость матери и спокойная твердость отца, то мать, вероятно, скоро бы испортила ребенка.

Наташа была для нее маленьким кумиром, ее жизнью, ее прелестным деспотом, подчиняться которому ей, в сущности, даже нравилось.

Женщины не умеют и почти не могут жить без этих «слепых» привязанностей, из которых они делают себе богов и деспотов. Им нужно боготворить и подчиняться, и если они не сделают себе такого кумира из мужа, то делают его из ребенка, иногда даже из братьев или отца, смотря по тому, кто есть и кого жизнь ставит в более или менее подходящие для этого условия.

Жизнь Марьи Сергеевны почти с первых дней молодости сложилась не только спокойно и безмятежно, но даже немного монотонно. В семнадцать лет она вышла замуж за Павла Петровича, которому тогда было около тридцати пяти. Была ли она влюблена в своего будущего мужа, это она понимала довольно смутно, и в то время дать себе в этом отчет не сумела бы. Но он ей нравился и, что порой имеет еще большее значение, нравился окружавшим ее. Ей все говори-

ли, что она делает прекрасную партию. Павел Петрович имел хорошее положение и средства, был еще молод, очень представителен и пользовался отличной репутацией.

Если бы судьба столкнула его с более пожившей женщиной, чем была тогда его жена, то, вероятно, такая женщина полюбила бы его глубже, нежели была способна на то семнадцатилетняя девочка. У женщины, много пережившей и страдавшей в прошлом, рождается и более мощное чувство, чем у наивной девочки. К тому же для каждого возраста женщины есть свой излюбленный тип мужчины, а Павел Петрович, с его холодной сдержанностью, спокойной рассудительностью и немоложавой наружностью, всего менее мог увлечь воображение своей семнадцатилетней невесты.

Будь у нее натура более пылкая, Манечка, вероятно, не замедлила бы влюбиться хотя бы в своего кузена, красивого кавалергарда, с которым так любила танцевать. Но молоденькая Манечка до такой степени еще не сформировалась, что ее натуру даже предсказать было очень трудно. Она вся была еще в будущем.

Во всяком случае, в то время это была миленькая, очень благовоспитанная барышня, скорее застенчивая, чем бойкая. Не очень худенькая, но и не полная, с хорошо посаженной на не округлившихся, еще полудетских плечах, грациозной головкой, больше миловидной, чем красивой. Хороши были только глаза: большие, темные, вечно переливающиеся, какого-то неопределенного цвета, но чаще всего велико-

лепного синего отлива. Эти глаза сияли детскою чистотой и несложностью ясной, непорочной мысли...

Марья Сергеевна была сиротой и жила у своего опекуна-дяди, а потому даже и родственно не была ни к кому особенно горячо привязана. Она, конечно, любила родню дяди, но не так, как любила бы родную мать или отца.

Выйдя замуж, она инстинктом поняла, какого надежно-го, безгранично, хотя и спокойно, любящего друга приобрела она в муже. Чем больше узнавала она его душу, ум, характер, тем больше начинала ценить и уважать его. Через год она была уверена, что более умного, великодушного и честного человека трудно найти. Раз она могла это понять, влюбиться в него, как часто влюбляются молоденькие жены в своих мужей уже по выходе замуж, было бы нетрудно, найди она в нем самом больше для этого причин. Но обстоятельства сложились иначе. Павел Петрович был прекрасный муж и плохой любовник. В нем не было ни тех порывов, которые так нравятся женщинам, ни даже особенной страстности в характере.

Если бы он, хоть шутя, увлекся бы другой, в ней, наверное, проснулась бы вся страсть влюбленной женщины. Женщинам нравится страдание, причиняемое им любовью, и чем мужчина больше причиняет им этих страданий, тем больше и страстнее любят они его. Но Павел Петрович для подобных отношений был и слишком хороший муж, и слишком занятой человек. Ему и в голову не приходило, что такой натуре,

как его жена, необходимы были время от времени сильные впечатления, и что чем дольше будет дремать эта, в сущности, страстная натура, тем с большей силой прорвется она когда-нибудь наружу.

Давай Павел Петрович своей жене хоть временами возможность этих ощущений посредством ревности к ней, ревности к нему, временного охлаждения и просыпающихся потом с новой силой порывов страстной любви, вся сила чувства, дремавшего в Марье Сергеевне, разменялась бы на эти мелочи, и они благополучно миновали бы опасное время молодости, жаждущей бурь, и дожили бы, наконец, до того предела, когда ничто уже неопасно, потому что мало-помалу все страсти замирают и успокаиваются в человеке, уступая дорогу старости.

К сожалению, Павел Петрович заботился только о том, чтобы окружить жену комфортом и полным спокойствием, которого желал и искал сам, — он пережил уже свои бури.

В глубине души сама Марья Сергеевна всего менее подозревала, что ей нужно нечто подобное. Она находила своего мужа лучшим из людей и сознавала, что имеет все: и прекрасного мужа, и полное семейное счастье, и хорошие, вполне обеспеченные средства, словом, все, что требуется для беспечальной жизни, а потому совсем искренне считала себя одной из счастливейших женщин, и скажи ей кто-нибудь, что для обеспечения и продолжения ее семейного счастья нужно еще то-то и то-то, она первая вознегодовала бы и на-

звала бы это ложью.

Зато весь запас нежности и страстности она перенесла на ребенка.

В своем тихом и безмятежном спокойствии Марья Сергеевна с годами расцветала все пышнее, красивее, и к тридцати годам миленькая девушка превратилась постепенно в красавицу. В чем именно заключалась ее красота, сказать было трудно. Она вся расцвела ровно, красиво, изящно.

За последнее время Марья Сергеевна инстинктом женщины начала чувствовать в словах, взглядах и ухаживаниях мужчин что-то совсем новое... Иногда, поймав на себе жадный взгляд мужских глаз, она вспыхивала и невольным движением поправляла тонкое кружево на груди бального платья. Эти взгляды если не пугали и не смущали ее, то, во всяком случае, как-то странно удивляли и тревожили.

Да и в самой себе она стала замечать что-то новое, странное. Часто, взглянув в зеркало, она несколько секунд не сводила с него любопытных синих глаз. Иногда, причесываясь или одеваясь перед зеркалом, Марья Сергеевна с довольной и слегка удивленной улыбкой всматривалась в свое лицо. Она смутно припоминала себя худенькой девушкой в кисейном платьице и почти не узнавала себя в этой красивой фигуре, отражавшейся в ее зеркале.

Мало обращавшая прежде внимания на костюмы, она, с некоторых пор, стала вдруг очень любить нарядные туалеты. Чем красивее становилась она, тем больше проявлялось

в ней почти бессознательное желание быть еще интереснее и лучше. Хорошенькая женщина всегда немножко влюблена в свое лицо.

В дни молодости Марья Сергеевна не очень любила выезжать; она чувствовала себя для этого слишком застенчивой и молчаливой. Дома ей нравилось больше; тут ей было свободнее и легче. Бальные костюмы стесняли ее, и она не умела даже придумывать их. К ее гладенькой головке простые домашние платья шли гораздо больше. Выезжая иногда в бальном туалете с открытыми шеей и руками, она чувствовала себя такой неловкой, точно связанной и всегда старалась спрятаться где-нибудь в кружке старушек. Но с годами у нее появились навык и вкус. Мало-помалу она приучилась не теряться в большом обществе, и хотя не перестала быть все еще молчаливою, но на лице ее, вместо детски-застенчивого, явилось спокойное, несколько горделивое выражение светской женщины, привыкшей уже и к толпе, и к умению держать себя перед этой толпой. Бальные туалеты уже не стесняли ее — напротив, чувствуя себя в них особенно интересной, она даже слегка оживлялась и делалась развязнее. Раз она явилась на вечер в прелестном белом платье с желтыми розами у кружевного корсажа. Оно очень шло ей, и все ей говорили, что она замечательно интересна; многие даже не сразу узнавали ее. Это забавляло ее. И она улыбалась довольной улыбкой красивой женщины, сознающей, что она нравится и что на нее поминутно обращаются восхищенные

взгляды.

Женщины любят возбуждать внимание. С этих пор она стала относиться с большей внимательностью к своим нарядам. Ей нравилось быть интересной, и она уже внимательнее выбирала цвета и фасоны платьев, шляп и тому подобных вещей. Постепенно у нее развился вкус, она изучила свое лицо и фигуру и прекрасно знала, что ей больше идет. Даже домашние платья она отделывала с большей обдуманностью и тщательностью.

Иногда, оставаясь дома, но, одевшись более удачно и нанося себя особенно красивой и изящной, Марья Сергеевна невольно чувствовала сожаление (присущее исключительно женщинам), что ее никто не видит. Если женщина чувствует себя очень интересной, а любоваться ею некому, ей всегда делается немножко досадно и как-то скучно. Тогда невольно рождается желание «показаться», очутиться где-нибудь в толпе, все равно — на улице ли, в театре ли, на вечере ли — только в обществе, где бы она чувствовала, что на нее смотрят и любят ее. Правда, иногда они довольствуются только одним ценителем, наряжаются только для одного и дорожат мнением только этого одного. Но тогда этот один заменяет для них все общество.

Марья Сергеевна была еще одной из серьезных женщин; вопросы выездов, туалетов, общества, развивающиеся у некоторых из ее сестер до грандиозных размеров, ей не казались еще очень важными и необходимыми.

Но, во-первых, у нее было слишком много свободного времени. Наташа поступила в гимназию, и ребенок уже не мог наполнять своей жизнью весь досуг матери. Часы, которые она привыкла проводить с дочерью, оставались теперь свободными, и порой она не знала, чем их заполнить. Заняться хозяйством? Но хозяйство давно уже было заведено раз навсегда, задержек в деньгах не было, волноваться, мудрить и выпутываться из разных мелких житейских дразг не приходилось.

Шить, вязать, читать...

Первое она не особенно любила, притом оно оставляло полный простор мысли, а значит, и скуке. Читать Марья Сергеевна всегда любила, только чтение с некоторых пор как-то странно действовало на нее. Часто говорилось о многом, чего она никогда не испытала и не знала. Иногда страстная любовь какой-нибудь героини, описание какой-нибудь сцены точно заражали ее самое любопытством и желанием чего-то, никогда еще не бывшего в ее собственной жизни.

Марья Сергеевна никогда не любила. Не любила той страстью, сполна захватывающей любовью, запас и потребность в которой всегда таятся в глубине души каждой женщины.

Читая теперь что-нибудь, слушая иногда рассказы и признания собственных подруг, Марья Сергеевна испытывала какое-то странное чувство... точно зависть. С ней самой никогда не бывало ничего подобного... Она еще никогда не слышала страстного шепота любви... Такой любви, какую ей

приходилось наблюдать у других, о которой она инстинктивно догадывалась и которой бессознательно желала. Раз, читая какую-то вещь, она вдруг на половине страницы отбросила книгу с какой-то злостью в самый угол комнаты и порывисто вскочила с дивана. Лицо ее горело горячими пятнами, и сердце усиленно билось. Она подошла к зеркалу, прикладывая холодные пальцы рук к пылающим щекам, и остановилась перед ним, глядя на себя рассеянным взглядом. Несколько мгновений она стояла молча, ломая свои холодные руки, грудь ее тяжело поднималась, сердце билось все чаще и чаще, в горле щекотал какой-то сухой, судорожный спазм, и вдруг, разом опустившись на маленький табуретик перед туалетом, она беспомощно уронила руки на стол и, прикинув к ним воспаленной головой, разразилась неудержимым рыданием...

О чем она рыдала? Что ей нужно, чего недостает?.. Она и сама не знала, ее томила какая-то безотчетная тоска. Когда она наконец успокоилась, ей стало совестно этих беспричинных, глупых слез. Ее смущали и заботили эти странные порывы, и, усердно стараясь подавить их в себе, она тщательно скрывала их от мужа и дочери. Ей было неприятно, что кто-нибудь из них мог заметить это, она даже чувствовала себя точно в чем-то виновной перед ними, хотя определить суть своей вины не могла. Во всяком случае, она решилась бороться сама с собой и не поддаваться этим «глупостям».

Павел Петрович ничего подобного не замечал. Его дела на

службе шли прекрасно, повышение за повышением, но зато прибавлялось и работы. Заниматься приходилось не только днем, но и по вечерам; иногда он просиживал за своими бумагами до глубокой ночи. Внутренний мир жены с его душевной работой и ломкой ускользал от его внимания.

Он видел только, что Мари всегда весела, спокойна, прекрасно одета и, по-видимому, очень счастлива. Придавать же особенное значение ярким пятнам на ее щеках и рассеянному выражению странно блестевших глаз ему не приходило даже и в голову.

Превращение Марьи Сергеевны из застенчивой домоседки в светскую женщину свершилось так постепенно, что его не заметил не только Павел Петрович, но даже и сама Марья Сергеевна, часто с недоумением старавшаяся припомнить, когда в ней «это» началось.

Одна Наташа угадывала что-то новое в своей матери, но и то больше детским чутьем, чем сознанием.

– Мамочка, ты сегодня опять куда-нибудь едешь? – спрашивала она за обедом.

– Да, в оперу.

Сначала Наташа выражала очень мало удовольствия по поводу частых выездов матери, но мало-помалу и она к ним привыкла.

– Ну хорошо, я буду смотреть, как ты станешь одеваться. Хорошо?

Для Наташи смотреть, как одевается мама, было «ужас-

ным» наслаждением. Она забиралась на большое кресло подле туалета и, усаживаясь там с ногами, обхватывала руками согнутые колени и, прижавшись к ним подбородком, смотрела на мать восхищенными глазами, внимательно следя в то же время и за горничной, помогавшей Марье Сергеевне одеваться. Изредка она кидала с заботливым видом отрывистые фразы:

– Тюник криво... Цветок лучше налево... Поправь вон тот локон...

Наконец туалет заканчивался. Наташа соскакивала с кресла и, схватив канделябры со свечами, делала матери последний «инспекторский» смотр.

– Отлично, мамочка! – радостно восхищалась она. – Восторг, как хорошо, мамочка, красота моя, прелесть!

Ей ужасно хотелось бы расцеловать матери каждый «кусочек», как она говорила, но, боясь смять прическу и платье, она выдерживала характер и ограничивалась только прыганьем и хлопаньем в ладоши.

Марья Сергеевна молча стояла перед ней, застегивая перчатки, нарядная, благоухающая, прелестная и невольно улыбающаяся и своей дочери, и своей красоте.

Феня приносила мягкий темно-пунцовый шарф и пушистую, на белом меху, ротонду. Вместе с Наташей они старательно укутывали Марью Сергеевну. Тогда начиналось прощание. Им всегда было трудно сразу расстаться друг с другом.

– Ну, будь же умница, девчурка! – говорила каждый раз по старой привычке Марья Сергеевна своей дочери. – Если захочешь кушать, спроси у Фени, там, в буфете, я оставила тебе рябчика и сладкого пирога.

В случае если Павел Петрович был дома и не сопровождал жену, она каждый раз заходила проститься к нему в кабинет.

Наташа выбегала вслед за матерью в переднюю.

– Кланяйся Ольге Владимировне и Кате.

– Хорошо, деточка!

– Ну, прощай, мамуличка моя, смотри, пожалуйста, не распахивайся в карете и не опускай окна, да смотри, мамочка, не выходи потная на лестницу, опять горло прихватит! – наказывала она с видом заботливой маменьки, отпускающей дочку на бал.

– Ну, прощай, Христос с тобой!

– Прощай, веселись хорошенько.

Феня отворяла дверь на ярко освещенную парадную лестницу, и Наташа выбегала на площадку.

– Наташа, уйди, простудишься!

– Ах, нет, нет, тут тепло!

Она свешивалась через перила и глядела вслед матери, пока та спускалась.

– Мамочка, смотри, зайди, как вернешься! – кричала она, перегибаясь вниз. – Хорошо? Пожалуйста, я ждать буду.

Они кивали, улыбаясь, друг другу до тех пор, пока массивная дубовая дверь не захлопывалась за Марьей Сергеев-

ною с протяжным стоном.

После этого Наташа разом принимала серьезный вид взрослой барышни и озабоченно произносила:

– Ну-с, теперь заниматься!

Они вместе с Феней входили в переднюю.

Феня запирала дверь на крюк.

– Кажется, ничего не забыли... Веер, перчатки, бинокль, платок... – перебирала Наташа, озабоченно считая на пальцах. – Все, кажется?

Феня удостоверяла, что все взято.

Облегченно вздохнув, Наташа отправлялась в свою комнату за уроки.

Она была уже третий год в гимназии, и занятий прибавлялось с каждым годом. Училась Наташа очень прилежно, она была третья ученица, но ей непременно хотелось сделаться первой. По-своему она была очень честолюбива и горда и потому почти весь вечер просиживала за учебниками.

В этом она была очень похожа на отца. Он – к службе, она – к занятиям относились почти с одинаковой серьезностью и занимались ими с тем же упорством, вниманием и сосредоточенностью. В девять часов она выходила в столовую пить чай и встречалась там с Павлом Петровичем, если он был дома. С тех пор как Марья Сергеевна стала чаще выезжать, Наташа проводила с отцом гораздо больше времени, чем прежде, и постепенно они сближались все больше и больше. По вечерам она часто приходила к нему в кабинет

заниматься своими уроками. Ей очень нравилась эта строгая тишина отцовского кабинета, заставленного массивной, немного тяжелой мебелью. Наташа усаживалась напротив отца за огромным письменным столом, углубляясь в книгу так же сосредоточенно, как он в свои бумаги, и они сидели друг против друга с деловым видом, очень похожие один на другого, и только изредка, поднимая голову, обменивались торопливой улыбкой. Если она не понимала чего-нибудь в своих дробях или склонениях, он подходил и, склонившись над ее темно-русой головкой, объяснял ей.

Когда Наташа рано кончала свои уроки, он давал ей сортировать или читать вслух некоторые его бумаги и газеты. Ей это ужасно нравилось, и она всегда торопилась покончить с уроками. Прежняя детская неловкость и натянутость в их отношениях совершенно исчезли. Он уже не старался подделываться под ее тон, не предлагал ей играть в прятки и не представлял больше ни медведей, ни буку. Они говорили друг с другом товарищеским тоном взрослых людей, и это нравилось и тому, и другому. Она рассказывала ему о своей гимназии, учителях, уроках; он сам не заметил, как начал делиться с ней рассказами о своей службе. Она читала ему газеты и доклады, перечитывала и сортировала его бумаги, и мало-помалу он привык говорить с ней о своих делах.

Ее раннее развитие порой даже удивляло его. Когда ему случалось увлечься и заговорить с ней о слишком уж не детских вопросах, Наташа выслушивала его с таким серьезным

видом, делала порой такие дельные замечания, что он совсем забывал, что говорит с девочкой, которой едва минуло четырнадцать лет. Павел Петрович, скорее замкнутый, чем общительный со всеми другими, с Наташей был откровеннее, чем даже признавал это сам.

Все свои разговоры они вели только наедине вечером в кабинете или в столовой за чаем.

Марья Сергеевна даже и не подозревала об оригинальных отношениях, завязавшихся между мужем и дочерью. С ней Павел Петрович почти никогда не говорил ни о делах, ни о службе. Не то чтобы он считал жену неспособной понимать это, но так как этого не случилось вначале, то заводить с ней такие разговоры теперь ему не приходило уже в голову. Дочь в этом отношении была ему как-то ближе. Он чувствовал в ней свою натуру, свой склад ума, свой характер, и это невольно сближало его с ней.

Наташа так искренне интересовалась всем, что интересовало его, так быстро и легко усваивала себе его мысли, вникала каким-то замечательно развитым в ней чутьем в его сферу и занятия, что в конце концов поняла более или менее весь ход его дел. Она всегда знала, какой доклад был на очереди, когда назначено было заседание и по каким вопросам, каких изменений и перемен ожидали в министерстве. Знала по именам всех министров и главных начальников и даже, разговаривая с отцом, невольно перенимала и его выражения, и различные специальные термины.

Ее всегда немножко шокировало полнейшее неведение Марьи Сергеевны по этим вопросам, и, если той случалось перепутать что-нибудь, когда разговор заходил о чем-нибудь подобном, Наташе так и хотелось прийти ей на помощь.

Раз она даже не удержалась. К Марье Сергеевне приехала одна знакомая со своим мужем. Разговор коснулся одного из новых назначений. Марья Сергеевна слышала что-то, но помнила довольно смутно.

– Ах да! – воскликнула она. – Говорят, Н. назначается министром юстиции!

– О мама! – Наташа даже вся вспыхнула. – Министр юстиции и не думает уходить! Н. назначается на место С. членом консультации при министерстве!

Несколько мгновений все трое молча, с удивлением глядели на эту девочку в коротеньком платье, с таким aplomb рассуждающую о смене министров.

– Это совершенно верно, – заговорил наконец муж гостыи с улыбкой, – но откуда наша маленькая барышня знает это?

Барышня вдруг вся покраснела и молчала с каким-то виноватым и сконфуженным видом. Она в первый раз проговорила о своем знании по этой части, и это испугало и рассердило ее. Наташа бесконечно дорожила доверием отца и в душе очень гордилась и этим доверием, и своим посвящением в «государственные дела».

Зато с этих пор она стала держать себя еще осторожнее, когда ей случалось слушать подобные разговоры.

Наташа ужасно любила пить чай по вечерам вдвоем с отцом. Столовая была такая уютная, вся залитая светом от спускавшейся с потолка над столом большой лампы. В углу топились, потрескивая и вспыхивая порой красным пламенем, камин. Наташа садилась за самовар и, принимая вид взрослой, начинала заваривать чай и перетирать чашки. За чаем отец с дочерью болтали всегда с особенным удовольствием. Иногда Павел Петрович смешил дочь, рассказывая ей что-нибудь, и теперь это удавалось ему гораздо лучше, чем прежде, когда он представлял ей буку. Наташа заливалась звонким смехом, запрокидывая голову, хохотала до слез и от восторга даже начинала болтать под столом ногами, как маленькая. Но в большинстве случаев Павел Петрович был чем-нибудь озабочен и чувствовал себя утомленным.

– Ну, что у вас нового? – спрашивала Наташа, намазывая тартинки и с аппетитом принимаясь за них.

Павел Петрович сначала отвечал односложно и даже неохотно, если был не в духе, но постепенно увлекался и начинал пересказывать даже разные мелочи.

Наташа внимательно и с любопытством слушала его.

– А у нас в гимназии опять неприятности! – воскликнула она, вспоминая вдруг.

– А! Что такое?

– Целая история вышла.

И она с мельчайшими подробностями пересказывает ему историю. Ее дела, уроки и гимназия интересовали его так же,

как ее – его служба, доклады и министры.

После чая они расходились по своим комнатам. Наташа брала книгу и укладывалась в постель. Она нарочно ложилась раньше, чтобы подольше почитать в постели, что ей очень нравилось. Читала она вообще очень много. В одиннадцатый часов она тушила свечу и, свернувшись как-нибудь поудобнее, сладко засыпала. Но едва раздавался звонок матери, Наташа тотчас просыпалась и, приподнимаясь на постели, с нетерпением глядела на дверь, в которую всегда входила Марья Сергеевна.

Легкие торопливые шаги женской походки слышались в гостиной, столовой и, наконец, в будуаре. Дверь несколько отворялась, пропуская Марью Сергеевну, и Наташа с восторженным криком бросалась к ней:

– Мамочка!

Мамочка входила, вся еще душистая, точно пропитанная атмосферой бальной залы, но в смятом уже слегка туалете, и горячо обнимала дочь.

– Ты что не спишь? – спрашивала она шепотом, точно боясь кого-то разбудить.

– Я спала, только услышала звонок и проснулась... Мамочка, милая!..

Марья Сергеевна опускалась на кровать подле дочери, и они сидели так несколько мгновений, нежно прижимаясь одна к другой и молча целуясь. Дрожащий огонек синей лампы обливал мягким и трепетным светом эту белую ком-

натку и их тесно прижавшиеся друг к другу фигуры. Это были их лучшие минуты, им обоим было так хорошо: какое-то особенное чувство наполняло и умиляло их обеих. С отцом, как ни любила его Наташа, она никогда не испытывала таких минут полного наслаждения и даже некоторого блаженства...

И, точно боясь нарушить чудное состояние, они начинали говорить шепотом.

– Тебе было весело, да? – шептала Наташа, влюбленно смотря на мать.

Марья Сергеевна молча кивала, отвечая дочери тем же полным нежности и любви взглядом своих прелестных глаз.

Наташа еще теснее прижималась к ней.

– А ты думала обо мне?

Тот же молчаливый кивок и та же ласковая улыбка.

– И за мазуркой, как я просила, да?.. Ах, мамочка, милая... Ненаглядная, красавица моя...

И она бросалась к матери, обвивала ее открытую шею своими руками и осыпала ее лицо, глаза, грудь и руки поцелуями.

Наташа была положительно влюблена в свою красавицу-мать. Она, как и в пять лет, оставалась для нее все тем же лучезарным кумиром, предметом страстного обожания.

Марья Сергеевна всегда привозила дочери с бала какие-нибудь фрукты. Это был маленький знак внимания с ее стороны, как бы молчаливое, но наглядное доказательство,

что она и там не забывала о дочери.

Наташа понимала это, и, если Марья Сергеевна ничего не привозила, Наташа обижалась и раз даже горячо проплакала всю ночь.

– Ты забыла! – говорила она с упреком.

Но когда все обстояло благополучно, то, нацеловавшись вдоволь, Марья Сергеевна поднималась наконец с постели и несколько отстраняла дочь.

– Ну, прощай, спи спокойно! – говорила она, крестя Наташу.

Но Наташа начинала протестовать:

– Нет, нет, нет, мамочка, я с тобой... Минуточку только, минуточку, пожалуйста, ведь мы совсем и не говорили еще, ты даже ничего не рассказала мне.

И она соскакивала с постели, закутывалась в одеяло и, всунув голые ножки в туфли, бежала, слегка подпрыгивая и шлепая валившимися с ног туфлями, в комнату Марьи Сергеевны вслед за нею.

– Ты простудишься, Наташа!

– Да нет, ведь я всегда так... Расскажи мне, с кем ты танцевала – монстр?

Марья Сергеевна с помощью горничной начинала раздеваться и рассказывать дочери, как провела вечер.

– А Надя Войтова была?

– Была.

– В чем она была?

– Очень мило, платье из сюра, стéме, с маленьким букетом фиалок.

– Шло ей? Она много танцевала? А Анна Павловна, с сестрой была или одна?

Наташа плотнее закутывалась в одеяло и, слегка вздрагивая от свежего воздуха в комнате, ела дюшес, стараясь не высовывать руки из-под облегавшего ее одеяла. Ее очень интересовали все эти подробности, и она совсем оживлялась.

– Все же ты, наверное, лучше всех была. Я уверена! – восклицала она.

Но Марья Сергеевна чувствовала себя уже утомленной. Она торопливо раздевалась и устало опускалась на постель.

– Ну, иди, детка, пора уже.

Наташа укутывала ее плотнее одеялом.

– Теперь, пожалуй, можно и удалиться, – снисходительно соглашалась она, смеясь. – Прощайте-с! Спите спокойно! Желаю вам видеть во сне все самое хорошее.

Они опять целовались, крестя друг друга, и наконец Наташа убегала, все так же шлепая туфлями и подпрыгивая на ходу, в свою комнату...

VI

Но с некоторых пор их отношения немного изменились и, что хуже всего, продолжали изменяться с каждым днем... Сначала это было незаметно, и в чем, собственно, заключа-

лась перемена, было едва уловимо, но чем дальше, тем яснее обозначалось это, и не столько в серьезной стороне их привязанности, сколько в бесчисленных мелочах, в которых такие перемены чувствуются всего яснее.

Между матерью и дочерью пробежала черная кошка, оцарапала их, и маленькая царапинка не только не заживала, но делалась с каждым днем все глубже и больнее...

Обе они хорошо помнили тот день, когда «это» началось. Случилось это в конце апреля. Наташа, начавшая уже держать экзамены и только что благополучно сдавшая один из них, вернулась домой из гимназии и, вся еще радостно-взволнованная и раскрасневшаяся, вбежала в комнату матери.

Марьи Сергеевны в спальне не было, и Наташа вприпрыжку, размахивая на бегу книгами и тетрадями, пробежала в гостиную.

– Двенадцать, мама, опять двенадцать! Уже третье двенадцать в эти экзамены! – кричала она с восторгом.

– Тише, Наташа!

Наташа остановилась и встретила взгляд чьих-то светло-голубых глаз, окаймленных слегка покрасневшими и немного припухшими веками.

Как раз напротив нее сидел какой-то высокий, белокурый, очень красивый господин, взиравший на нее с легким недоумением. Наташе не было видно Марьи Сергеевны; она сидела на низкой оттоманке, полускрытая трельяжем и расте-

ниями.

– Моя дочь! – слегка улыбаясь, проговорила та.

Наташа, вся вдруг покрасневшая, присела совсем по-детски. Она вдруг почувствовала себя такою неуклюжей и неловкой, и это сконфузило и рассердило ее. Ей было ужасно досадно, что она так влетела в комнату при постороннем, «совсем как девчонка».

Изящный господин слегка привстал и низко поклонился, протягивая ей руку.

– Совсем уже большая барышня, – произнес он не то любезно, не то иронически.

Но Наташа в эту минуту сознавала себя более чем когда-либо совсем маленькой, и искоса, сердито и быстро оглядев гостя исподлобья, вложила в его красивую руку по-детски неумело свою красную и несколько крупную, как у большинства подростков, руку и сконфуженно опустила на стул подле матери, не зная, что сказать, как сидеть и что делать.

Марья Сергеевна, казалось, также чувствовала себя не совсем ловко и краснела еще больше дочери. Когда Наташа села, изящный господин продолжал свою прерванную речь мягким, приятного тембра голосом.

Наташа сидела напротив него с тем насупленным и сердитым видом, который принимала всегда, когда чувствовала себя сконфуженной. Она сама не умела объяснить себе, почему этот изящный барин так злит и раздражает ее. Говорил

он очень умно и даже приятным голосом, а между тем каждое его слово, каждое движение безотчетно раздражали ее. В душе она была очень обижена на мать, которая приняла так равнодушно и холодно ее радостную весть о новых двенадцати и сидела теперь совершенно безучастная к ее экзаменам, но очень, по-видимому, внимательная к рассказу гостя.

Гость, наконец, закончил свой рассказ, и на мгновение разговор оборвался. Переждав несколько мгновений и видя, что дамы молчат, он обратился к Наташе как к новой, еще не исчерпанной теме.

– Барышня, кажется, выдержала блестящим образом экзамен? – обратился он к ней.

Наташа опять вспыхнула, но ничего не ответила, за нее отвечала Марья Сергеевна:

– Она у меня отлично учится.

– Гм! Это очень хорошо! А вы теперь в который же класс переходите?

– В третий... – неохотно отвечала Наташа.

Она вовсе не желала говорить с антипатичным ей господином, и его вопросы только окончательно сердили ее. «Чего он пристал ко мне? – думала она с раздражением детского каприза. – И чего он только, господи, торчит!» Хотя в душе она и была обижена на мать, но ей все-таки хотелось как можно скорее остаться с ней вдвоем. А гость, по-видимому, совсем не желал понимать ее. Он сидел в очень спокойной

позе и говорил тем медленным тоном, каким говорят люди, которым некуда торопиться.

– В третий! Это значит, по-нашему, в пятый? У вас ведь, кажется, первый считается старшим? Значит, вам остается еще три года только!

Наташа молчала, а он задумчиво переводил свои водянисто-голубые глаза с дочери на мать, точно мысленно сравнивая их.

– Совсем большая барышня! – прибавил он, ни к кому специально не обращаясь, и вдруг, переведя глаза прямо на Марью Сергеевну, воскликнул с каким-то точно удивлением: – А я почему-то воображал, что у вас нет детей!

– Да? – вспыхнула слегка Марья Сергеевна и чему-то сконфуженно засмеялась.

Гость продолжал несколько мгновений глядеть на нее загадочно улыбающимися глазами.

«Как он глядит, как он глядит, как он смеет так глядеть?!» Наташе даже захотелось наговорить ему дерзостей, и любезное выражение материнского лица ужасно сердило ее.

– Ну, теперь недолго уже и до конца осталось! – обратился он опять специально к Наташе. – Каникулы – это радость всех гимназистов, гимназисток, институток, словом, всего нашего маленького учащегося люда. Я прекрасно помню, в какой неистовый восторг приходил я сам в тот день, когда нас отпускали, и потому буду от всей души сочувствовать вашей радости в тот день, когда вы забросите ваши книги и

тетради на полки на целых три месяца и приметесь снова за ваши игрушки и кукол. Я нахожу, что мы слишком замучиваем наших детей ученьем зимой, а потому, чем больше они бегают, играют и возятся летом, тем лучше это и полезнее для них во всех отношениях.

Он, по-видимому, еще долго бы говорил о Наташе. Но Наташа, с ярко заблестевшими от негодования глазами, вдруг резко оборвала его:

– Я вовсе не собираюсь играть в куклы и бегать в пятнашки, мне уже пятнадцатый год!

В ее голосе послышались и слезы, и злость, и обида, и негодование; она вся покраснелась, и в глазах ее сверкнули даже слезы.

– Наташа! – остановила ее Марья Сергеевна полустрогим, полуиспуганным взглядом. – Во-первых, тебе нет еще и четырнадцати, а во-вторых, я попросила бы тебя не волноваться и не горячиться так.

– Конечно, мама; меня только что называли большой барышней, а теперь предлагают играть в куклы.

– Но, милая барышня, ради бога, простите меня, я совсем не хотел этим обижать вас, я говорил больше лично про себя, про свои воспоминания детства. Не беспокойтесь, Марья Сергеевна, это просто маленькое недоразумение между мной и вашей милой барышней. Я сам виноват. У барышни очень впечатлительная и нервная натура, но мы с ней все-таки будем друзьями. Не правда ли? Она протянет мне свою ручку,

а я обещаюсь больше не поддразнивать ее, и мы совсем помиримся... Я всегда со всеми детьми в дружбе! Не так ли, милая барышня? Ну, дайте же ручку.

– Наташа, дай же руку!

Марья Сергеевна бросила на дочь недовольный и строгий взгляд.

Наташа, презрительно блеснув глазами, гордо подняла головку и безучастно вложила свою похолодевшую от волнения ручку в протянутую ей красивую белую руку с выточенными розовыми, как у женщины, ногтями.

– Простите ее, Виктор Алексеевич, она у меня совсем еще дичок, – с недовольным и сердитым видом заговорила Марья Сергеевна.

Ручка Наташи слегка дрогнула в руке Вабельского.

Виктор Алексеевич с упреком взглянул на Марию Сергеевну и только покачал своей красивой головой.

– Ну, вот опять! Ай-ай-ай, барыня, мы только что начали мириться, а вы опять хотите нас поссорить! Совсем не барышня просит у меня прощения, а я у нее...

Наташа молчала и, высвободив, наконец, свою руку, начала теревить складки своего гимназического передника. Ей хотелось уйти, и в то же время она ни за что не хотела уходить и молча продолжала сидеть, бросая исподлобья угрюмые взгляды по сторонам.

Виктор Алексеевич, поняв наконец, что маленькая хозяйка не желает говорить с ним, спокойно оставил ее и перешел

к другой теме.

Теперь Наташа уже не желала его ухода для того, чтобы остаться наедине с матерью; она видела, что мать изредка оглядывает ее строгими глазами, и, чувствуя, что та на нее сердится, обижалась чуть не до слез, и свою обиду с матери переносила на «отвратительного» Вабельского как на виновника ссоры между ней и Марьей Сергеевной.

Наконец пробило пять часов. Вабельский поднялся и начал раскланиваться. Прощаясь с Марьей Сергеевной, он надолго задержал ее руку в своей, продолжая говорить о каких-то пустяках, как будто совершенно забывая, что он удерживает ее руку, а она не отнимала ее и глядела на него искрившимися глазами.

– Ну-с, барышня, ведь мы не в ссоре? Не правда ли? – обратился он к Наташе. – Или мы должны привыкнуть, прежде чем подружиться? Если так, то это еще лучше, дружба будет прочнее.

Наташа тоскливо стояла посреди комнаты.

«Лучше уйти к себе, – думала она, – Господи, ну отчего он такой противный! Только бы не вздумал еще часто бывать!»

Она прошла в свою комнату и встала у окна, уныло смотря на улицу. Погода испортилась, шел дождь, перемешанный со снегом... Мостовые, дома, люди – все казалось каким-то серым, мокрым...

Через минуту слышались торопливые шаги. Марья Сергеевна вошла, порывисто распахнув дверь, и заговорила

с резко звенящими нотками в голосе:

– Скажи на милость, что это еще за фокусы? Ты, кажется, совершенно с ума сошла! Как ты смеешь говорить *так* с моими гостями? Я тебя так избаловала, что просто ни на что не похоже! Ты скоро бог знает что будешь позволять себе. Разыгрываешь из себя большую, а ведешь себя как девчонка. Обижаешься, требуешь какого-то почтения... И потом, что это еще за объявление всем и каждому о своих годах? Слишком рано начала прибавлять себе года; ты еще ребенок и, когда говоришь со старшими, должна это помнить. Прошу впредь никогда и ничего подобного не выкидывать!..

Марья Сергеевна вышла и с силой захлопнула за собой дверь. Наташа стояла у окна вся побледневшая, с каким-то пораженным лицом.

Мать еще никогда в жизни не говорила с ней таким тоном. Обыкновенно Марья Сергеевна была очень мягка с дочерью и почти никогда не повышала голоса.

И вдруг!

При слове «вдруг» Наташе снова припомнились все обидные слова матери и ее искаженное гневом лицо.

Кричать, как на девчонку, из-за какого-то Вабельского! О!

И Наташа горько зарыдала, прислонясь горячим лбом к холодным стеклам окна...

VII

К обеду Наташа вышла с заплаканным лицом и пасмурно сидела все время, изредка только вскидывая на мать глаза.

Если бы Марья Сергеевна, встретившись взглядом с дочерью, улыбнулась ей, Наташа была бы готова сейчас же броситься к ней на шею.

Но Марье Сергеевне хотелось выдержать характер, и сквозь пар, поднимавшийся от супа, проглядывало как бы подернутое легкой дымкой ее лицо с сердито сжатыми губами, с маленькой морщинкой между бровями, придававшей ее глазам холодное и гневное выражение.

Наташа чувствовала, что мать нарочно не хочет встретиться с ней взглядом, и, чувствуя это, она оскорблялась еще более и делалась все сумрачнее.

Марья Сергеевна находила теперь, что она слишком избаловала дочь, слишком много дала ей воли, поставив ее в положение скорее друга, чем ребенка. Прощаясь с Вабельским, она еще раз извинилась перед ним за дочь.

– Да полноте же! – отвечал он ей. – Ведь это еще ребенок, правда, немножечко избалованный, так ведь это даже и не ее вина.

Марья Сергеевна чувствовала это, и отчасти ей было это даже приятно. Она сознавала, что Вабельский прав: конечно, Наташа еще совсем ребенок, и ребенок, страшно избалован-

ный самой же ею. Он прав, это ее собственная вина. Но как исправить то, что уже испорчено? Она сама еще хорошенько этого не знала, но решила, что надо будет принять какие-нибудь меры, наконец. Сделав дочери выговор, она пришла к себе в кабинет и начала ходить по нему взад и вперед, как всегда делала, когда была чем-нибудь сильно раздражена.

Ее ужасно взволновала вся эта, в сущности, пустая история, и, спрашивая себя: «Почему?», она отвечала самой себе: «Потому что я боюсь за Наташу».

Вспоминая выражение лица и сами ответы Наташи Вабельскому, Марья Сергеевна находила их страшно дерзкими, и ей было крайне неприятно, что ее родная дочь оскорбляет ее же гостей совершенно незаслуженно, только потому, что эти гости не имеют счастья нравиться «избалованной девочке»! И тем более ей было неприятно, что Наташа «наговорила дерзостей» именно Вабельскому, который был в ее доме в первый раз: они познакомились еще недавно, но он ей очень понравился, и с ним ей, более чем с кем бы то ни было, хотелось быть внимательной и любезной хозяйкой. Она даже старалась припомнить, не случалось ли таких историй и раньше: быть может, Наташа всегда и со всеми была дерзка и невоспитанна, и только она, в своем материнском ослеплении не замечала этого, пока простой случай не раскрыл ей наконец глаза?..

– Да, я ее страшно испортила, и это когда-нибудь тяжело отзовется и на мне, и на ней самой – сама Наташа не побла-

годарит меня за это впоследствии.

Но как исправить это? Несомненно, что исправить ее еще не поздно, но как начать? Как приняться?

Марья Сергеевна сознавалась себе, что она плохая воспитательница, по крайней мере, была, теперь же употребит все силы, чтобы сделаться лучшей.

Девочка все время между большими – это старит детей раньше времени. Ей нужны подруги и дети ее возраста, нужны игры, шалости. Наконец, это необходимо и для здоровья... Девочка вечно в комнате, в книгах, ей совсем не след торчать в гостиной, когда там посторонние. Марья Сергеевна именно так и подумала: «торчать» – это даже стесняет, нельзя ни о чем говорить...

Марья Сергеевна долго еще думала и решила, во-первых, отдалить, насколько возможно, Наташу от взрослых и окружить ее подругами ее возраста; во-вторых, быть гораздо строже и придерживаться с ней известной, раз и навсегда установленной методы, а не так, как раньше было. Только в строгости своей Марья Сергеевна не была уверена и побаивалась, что не выдержит долго характера, но, во всяком случае, решила крепиться, сколько возможно дольше, и начать с этого же дня.

Следствием этого и было то, что Марья Сергеевна весь вечер не говорила с Наташей, глядела на нее холодно и, целуя дочь после обеда, едва прикоснулась к ее лбу губами. Она хотела, чтобы Наташа лучше поняла и свою вину, и то, что

она, Марья Сергеевна, очень ею недовольна.

Несколько раз в течение вечера ей делалось жаль дочь, и, казалось, что она уже достаточно наказала ее; ей даже хотелось позвать ее, поговорить с ней ласково, но серьезно и совсем уже примириться после этого. Раз она даже встала и подошла к двери Наташиной комнаты. Но каждый раз они припоминала свое решение и выдерживала характер.

Где-то глубоко в ее душе шевелилось безотчетное сознание, что она не совсем права, поступая так; раз даже явилась мысль, что она рассердилась так на Наташу только потому, что та задела именно Вабельского... Но эта мысль явилась лишь на мгновение и как-то смутно, и Марья Сергеевна, точно испугавшись, сейчас же отогнала ее и стала уверять себя, что ее долг вести себя именно так, а не иначе, ради самой же Наташи, которая после сама же будет благодарить ее за это. Когда будет это «после», она представляла себе не совсем ясно, но утешала себя мыслью, что когда-нибудь да будет...

Что касается Наташи, то она была положительно поражена. Еще никогда в жизни она не помнила Марью Сергеевну такой. При ее страстном обожании матери маленькая царапинка в их отношениях уже казалась ей большой раной. Сознание, что они поссорились, что «она» сердится на нее, страшно мучило Наташу; так же, как и Марья Сергеевна, она несколько раз подходила к двери с желанием броситься к матери на шею, расплакаться, поцеловать ее и помириться... И если Марья Сергеевна не делала этого из желания выдер-

жать характер, то Наташа потому, что каждый раз вспоминала «противную» физиономию Вабельского, из-за которого ее мать кричала на нее и грозила ей, как шестилетней девочке. Из-за Вабельского, которого она едва знает!

И она опять угрюмо садилась за книги, стараясь углубиться в свои уроки и в то же время чутко прислушиваясь к тому, что делалось в материнской комнате. Но там все было тихо... Изредка раздавался легкий кашель да слышался шелест переворачиваемых книжных листов. Раз Наташе показалось, что мать встала и подошла к двери. Наташа повернулась на стуле лицом к двери и затаила дыхание... Вот-вот дверь растворится... она войдет... И она ждала так несколько секунд, не отрывая глаз от двери... Но дверь не отворилась, и слышно было, как кто-то отошел от нее.

Наташа тихо вздохнула и принялась за тетради.

Часу в девятом Марья Сергеевна позвонила горничную и стала собираться куда-то на вечер. Наташа слышала, как она одевалась, говорила с горничной, отдавала какие-то приказания и, наконец, уехала, даже не зайдя к ней проститься. Павла Петровича также не было дома весь день, Наташа не стала пить чай и легла спать раньше обыкновенного. Но заснуть она не могла: все случившееся страшно волновало ее и казалось ей таким большим горем, которое если будет продолжаться, то убьет ее. И она все спрашивала себя, зайдет ли к ней мать ночью, по возвращении, как всегда, или нет. Наташа где-то глубоко в душе верила, что мать непременно

придет к ней, и тут-то они и помирятся. Она даже представляла себе, как это будет: дверь откроется, мама войдет тихо, осторожно, как всегда, подойдет к ней, Наташа бросится к ней и... И, представляя это себе, она уже заранее чувствовала себя растроганной и умиленной до слез. До двух часов ночи она страстно ожидала возвращения матери; ни думать о чем-нибудь другом, ни спать она не могла и, беспокойно ворочаясь на постели с боку на бок, лежала с открытыми глазами, тревожно и чутко прислушиваясь к каждому шороху и все ожидая звонка...

Несколько раз ей казалось, что позвонили, тогда она вскакивала, приподнималась на локтях и слушала несколько секунд – не идут ли отворять... Но, убеждаясь, что ошиблась, опять тоскливо опускалась на подушки. Время тянулось страшно долго, и ей казалось, что никогда еще Марья Сергеевна не возвращалась так поздно.

«А что, если она не придет?..»

Но от одной этой мысли сердце ее начинало болезненно биться, и слезы беспомощно катились из глаз.

Тогда?.. Тогда она начинала придумывать, что с ней случится что-нибудь ужасное, самое ужасное, или она смертельно заболит, и тогда мать придет к ней и будет упрекать себя за то, что довела ее, Наташу, «до этого». Что именно будет «этим», ей представлялось довольно туманно, но, во всяком случае, что-то ужасное.

В четвертом часу раздался звонок – Наташа вздрогнула

и вскочила... «Это она...» Слух ее вдруг напрягся до самой тонкой чуткости: она слышала, как в передней отворяли дверь, как там возились довольно долго, снимая, вероятно, шубу; слышала даже, как глухо упали на пол снятые с ног калоши... Потом шаги – по зале, по столовой, по маленькой гостиной... Все ближе, все явственнее, уже слышно даже, как мягко шелестят по коврам длинные бальные юбки... Наконец, вошли в будуар. Наташа села на кровати и опустила голые ноги на пол. Сердце ее страстно и тревожно билось, ей даже казалось, что ей больно от этих частых и сильных ударов...

В будуаре раздавались пониженные, тихие голоса... Феня раздевала свою барыню и что-то рассказывала монотонным, слегка зашпанным голосом. Марья Сергеевна говорила совсем тихо и мало; изредка только вырывалось более громкое, отрывистое слово...

«Ну, что же, что же она не входит?»

Теперь на Наташу напал страх, что мать, действительно, не войдет к ней, и с каждой проходящей минутой она уверялась в этом все больше: все ее существо еще бессознательно ждало, и уверенность, что мать не придет, как-то странно смешалась со слепой, непоколебимой надеждой, что она придет.

Но проходили минуты, дверь не отворялась...

«Ах, когда Феня уйдет! – радостно подумала вдруг Наташа. – Она не хочет только при Фене, ну, конечно, конечно!»

И с новой надеждой она впиалась в дверь, отделяющую ее от матери, ожидающими глазами.

Прошло еще несколько минут, голоса почти не раздавались, слышны были только шаги... Это, верно, Феня наскоро прибирала вещи.

«Ах, скорее бы, скорее бы она уходила...»

Теперь Наташа ждала уже только ухода горничной.

– Свечу погасить?

– Погаси...

Наташа судорожно вздрогнула.

«Погасить, как погасить?... Разве уже легла... Значит...»

Сердце ее забилось еще чаще, еще болезненнее.

В соседней комнате кто-то дунул так, как дуют, когда гасят свечу. Погасла...

Опять послышались шаги, все удалявшиеся и, наконец, совсем замершие где-то в глубине коридора.

Феня ушла, и с ее затихшими шагами кругом воцарилась полная тишина, та тишина, которая разливается только ночью, когда вместе с людьми точно и все остальное засыпает...

Наташа все еще сидела с опущенными на пол ногами... Она как будто еще чего-то ждала... Лампадка слабо мерцала, и бледные тени ее ползали и трепетали по стенам и по полу комнаты. Наташа глядела на них, прислушиваясь к разливающейся по всем уголкам тишине ночи... Ей было холодно, но она не чувствовала этого, хотя вся дрожала и зябко ежилась голыми плечами.

В углу, возле печки, что-то тихо зашуршало, большой черный таракан, осторожно поводя длинным усом, выполз из-за печки и медленно переползал по карнизу, выделяясь черным движущимся пятном на светлых обоях... Наташа поглядела на него... Где-то, верно, в кабинете, глухо пробили часы: раз... два... три... четыре...

Наташа слегка вздрогнула от пробежавшей по ее телу холодной дрожи и медленно приподняла голову. «Не пришла...» — тихо прошептала она, и это слово показалось ей таким ужасным, ей вдруг сделалось так больно и так мучительно жаль и самое себя, и того, что мать не пришла, и того, что все кончилось... Что кончилось, она неясно еще понимала, но что-то кончилось и оборвалось — это она чувствовала с острой, горькой болью.

VIII

Разлад между матерью и дочерью если и не обострялся, то, во всяком случае, как-то странно затягивался и осложнялся. Наташа точно спряталась в себя, и Марья Сергеевна, которой надоело, да и не хотелось уже выдерживать характер, начала следить за девочкой уже с некоторым беспокойством и недоумением.

Несколько раз порывалась она перейти к прежним отношениям с дочерью, но это плохо удавалось ей. Наташа не сердилась, не имела даже надутого вида, как это часто свой-

ственно избалованным детям, а между тем Марья Сергеевна чувствовала, что девочка уже не та, хотя для не очень наблюдательных глаз их отношения оставались почти такими же, как и прежде.

По прошествии первых же трех дней Марья Сергеевна, видя, что Наташа не подходит просить прощения, не вытерпела и однажды сама за чайным столом обняла и поцеловала ее. Это было как бы водворением мира с ее стороны, но, целуя дочь, Марья Сергеевна почувствовала в ее ответном поцелуе что-то совершенно новое, как будто холодное и равнодушное. И с тех пор это продолжалось.

Встречаться им теперь приходилось реже: у Наташи шли экзамены, у Марьи Сергеевны кончался сезон, давались последние вечера, делались прощальные визиты и т. д.; тем не менее встречаясь, они были внешне очень ласковы друг с другом. Только Наташа стала как-то меньше болтать, дурачиться и восхищаться матерью. Она точно выросла за несколько дней, стала задумчивее и как будто втайне о чем-то грустила. Даже ее взгляд сделался глубже, и порой, ловя его на себе, Марья Сергеевна невольно смущалась, хотя и не могла себе объяснить, почему. Часто это сердило ее. Прощаясь на ночь, они, как и прежде, крестили друг друга, но каждый раз Марья Сергеевна подмечала, что Наташа делает это теперь торопливо, немного сконфуженно и точно нехотя.

Все эти маленькие, только Марье Сергеевне заметные мелочи смущали и удивляли ее, но она надеялась, что через

некоторое время все войдет в обычную колею. Теперь ей было досадно, зачем она в ту же ночь, по возвращении с бала, не зашла к Наташе и тогда же не помирилась с ней; в душе она немножко сердилась на себя за то, что послушалась тогда Вабельского, которому как-то невольно рассказала все.

Она не чувствовала в себе способности и умения перевоспитывать дочь, и потому ей хотелось посоветоваться об этом с кем-нибудь. Но с кем – она не знала. Мужа ей почему-то не хотелось путать в это дело, она даже хотела бы скрыть от него размолвку и была очень рада, что его весь день не было дома; родня же и знакомые слишком мало знали и ее, и Наташу, и их «особенные» отношения, чтобы с пользой что-нибудь посоветовать. Первая размолвка с дочерью своей новизной и с непривычки казалась ей целой историей, чуть не переворотом, заботила и даже мучила ее, поглощая все ее мысли. Она почти не могла ни думать, ни говорить о чем-нибудь другом, а потому очень обрадовалась, когда в числе гостей на вечере увидела Вабельского. Все это произошло на его глазах, он был даже косвенной причиной их ссоры, и Марье Сергеевне казалось, что с ним ей удобнее, чем с кем бы то ни было, посоветоваться об этом.

«Он такой милый и умница, что-нибудь придумает...»

Вабельский первый заговорил с ней о Наташе и об утреннем визите.

Марья Сергеевна сама не заметила, как мало-помалу рассказала ему свои отношения с дочерью, чуть ли не со дня ее

рождения. На нее вдруг нашел какой-то порыв откровенности.

Вабельский молча и внимательно слушал ее, слегка склонив красивую белокурую голову.

– Ваша Наташа, – заговорил он, когда она, взволнованная своей неожиданной исповедью, примолкла на мгновение, – ваша Наташа прелестная девочка, и из нее может выйти чудная женщина, одна из тех женщин, которые встречаются все реже и реже. Но...

Он запнулся с тем выражением лица, которое невольно является, когда не хотят сразу высказать свою мысль.

Она поняла его.

– «Но»?.. – повторила она вопросительно, точно желая этим заставить его продолжать.

– Но я боюсь, что вы сами же испортите ее... Вы не сердитесь, будем говорить откровенно, по-товарищески?

Он взял ее руку и слегка пожал ее.

– Нет,нисколько не сержусь; знаете, я и сама не раз думала то же самое. Я давно уже хотела поговорить об этом с кем-нибудь... Но с кем же?... С кем-нибудь из знакомых мне отцов и матерей? Но что могут они посоветовать мне, когда они все сами точно так же, если еще не хуже, испортили своих детей? Чему они могут научить?..

Вабельский засмеялся.

– Это правда, – сказал он, – большинство наших детей портится их же собственными матерями. Сколько пользы

могу я принести вам своим советом – не знаю; детей у меня нет, и потому о воспитании я могу судить только теоретически... Во всяком случае, я думаю, что с детьми необходимы известная выдержка и система, необходим более или менее план воспитания, так сказать, правильный режим, а не то, что сегодня – так, завтра – иначе, и всегда – как бог на душу положит: авось, мол, сойдет как-нибудь, все равно и так вырастут.

Марья Сергеевна внимательно слушала.

– Но что же, что же делать? Как воспитывать? А вот теперь... В таких случаях как исправлять ошибки?..

– Да ваша же собственная Наташа учит вас, что делать. У нее же есть и характер, и выдержка, а у вас нет! Она не хочет идти просить у вас прощения и не пойдет, хотя и знает, что вы сердитесь и мучаетесь. А вы не выдержите, и сегодня же сами первая пойдете к ней мириться! Таким образом, ваша Наташа не только не сознает своей вины, но даже будет чувствовать себя отчасти мученицей, даром обиженной и, уж конечно, совершенно правой, чему доказательством ей будет служить уже сам тот факт, что в конце концов вы и сами это осознали и пришли к ней. И в будущем вы не только не гарантируете себя от подобных капризов, но еще и дадите им полный простор развиваться и усиливаться. Вы мне скажете: Наташа не дитя, не ребенок. Ей уже четырнадцать на днях минет. Положим, четырнадцать вдвое больше, чем семь, но все-таки это еще не аттестат на зрелость и самостоя-

тельность. Этот возраст даже более трудный, опасный и требующий известного ухода и выдержки, чем всякий другой, потому что с него начинается переворот и перерождение девочки в будущую женщину.

Марья Сергеевна в душе соглашалась с ним, но только чувствовала, что не сумеет приняться за дело.

– Это очень трудно, – задумчиво заговорила она, поднимая на него глаза, – и сделать это гораздо труднее, нежели понять, что именно нужно сделать. Я понимаю, но исполнить едва ли сумею.

Он, улыбаясь, глядел на нее, как бы мысленно думая о чем-то совсем ином. Он сразу взял с ней товарищеский тон, и, слушая его, говоря с ним, она чувствовала себя так легко и просто, что ей казалось, будто они уже давно знают друг друга. Она была глубоко благодарна человеку, говорившему с таким интересом о том, что было для нее дороже всего, и руководившему ею там, где она без посторонней помощи не могла найти твердой почвы под ногами.

Когда она спускалась с лестницы, Вабельский пошел проводить ее и, помогая ей одеваться, шутливым и заботливым тоном наставлял ее.

Ей было смешно, что ее учат, как маленькую, и в то же время ей это нравилось, тем более что она находила его совершенно правым.

– До свиданья! Смотрите же, не испортите моей Наташи! – шутливо проговорил он.

– Вашей?

– Ну, нашей!

Они глядели друг другу прямо в глаза и улыбались. Марья Сергеевна чувствовала себя в каком-то особенном состоянии духа: ей было как-то беспричинно весело.

Подсаживая ее в карету, Вабельский крепко пожал ее руку.

– До свиданья. Заезжайте же, – сказала Марья Сергеевна. Вабельский ничего не ответил и только поклонился.

Карета тронулась; он остался еще на подъезде, и Марья Сергеевна, еще раз выглянув из окна кареты, поклонилась ему. Слабый отсвет от фонарей осветил на мгновение ее лицо, скользнув светлой, желтоватой полосой по ее пунцовому плюшевому шарфу, из-под которого на него сверкнули темные глаза и красиво обрисованный рот.

Вабельский задумчиво глядел ей вслед. Какое-то странное выражение пробежало по его лицу.

– Очень ты, барынька, хороша! Очень! – тихо проговорил он и, запахнувшись плотнее в шинель, быстро вскочил на свои дрожки...

Когда карета отъехала от подъезда и плавно закачалась на упругих рессорах, Марья Сергеевна откинулась в самую ее глубь и, запрокинув голову на мягкие подушки, прикрыла глаза. Улыбка, с которой она простилась с Вабельским, еще не сбежала с ее лица, придавая ему какое-то мечтательное выражение...

Было уже поздно; на улицах стояла тишина, кое-где лишь запоздавшие кареты быстро катились по мостовой да редкие извозчики сонно почмокивали на таких же сонных кляч. Марья Сергеевна томно глядела из-под опущенных ресниц в окна кареты прямо против себя, машинально следя взглядом за едущими экипажами и мелькавшими перед ней фонарями...

Какие-то обрывки мыслей и фраз вяло толпились в ее голове, но ей было так хорошо в мягком сумраке кареты, в теплом меху ротонды, на слегка покачивающихся подушках... Она не то дремала, не то мечтала о чем-то, убаюкиваемая тихой ездой.

IX

Весна подходила к концу. Снег давно стоял, река прошла, смолистые сочные почки на вздувшихся и почерневших деревьях лопались, выпуская из себя липкие ярко-зеленые листочки, еще совсем маленькие и сморщенные, но свежие и душистые тем особенным запахом смолы, который присущ им только в мае.

Каждый год Павел Петрович, с наступлением лета, отправлялся в дальнюю командировку, продолжавшуюся месяца два, иногда три. До сих пор это не выбивало Марию Сергеевну из обычной колеи. К этим командировкам она привыкла уже давно, и в большинстве случаев тотчас по его отъ-

езде они с Наташей перебирались на дачу, куда в июле месяце приезжал и Павел Петрович. Но этим летом их задерживали в городе Наташины экзамены, и Марья Сергеевна находилась в каком-то странном состоянии духа: она точно потеряла свое обычное спокойствие, и какие-то неясные желания бродили и зарождались в ней.

Еще провожая Павла Петровича на станцию железной дороги, она почувствовала это.

День был яркий, солнечный; все кругом ее двигалось, жило, суеилось, говорило, смеялось; во всем сказывались весеннее обновление и жизнь. С улицы доносилась трескотня экипажей, звонки конок и гул снующего народа. Марья Сергеевна стояла у вагона рядом с Наташей и рассеянным взглядом следила за толпой. Ей хотелось чего-то нового, и она с любопытством всматривалась в эти оживленные, чужие ей лица и в лица дочери и мужа, такие спокойные и серьезные.

Наташа молча стояла возле нее с тем апатичным выражением, которое всегда проявлялось у нее в минуты грусти. Девочке, по-видимому, было жаль расставаться с отцом, и, нежно сжимая его руку, она печально глядела на него. Он улыбался ей ласково, но сдержанно, и что-то говорил ей своим спокойным, несколько медленным голосом.

Марья Сергеевна едва слушала их. Бывало, отъезжающий поезд всегда производил на нее тяжелое впечатление; даже возвращаясь в опустевшую квартирку, она не чувствовала такой гнетущей тоски, как в эти минуты на вокзале. Но те-

перь чудный весенний день невольно бодрил и ее. И на душе ее было скорее как-то радостно, нежели грустно.

Раздался последний звонок. Павел Петрович еще раз горячо обнял жену и Наташу.

– Пишите же...

– Да, да...

Они вместе кивали ему, и Наташа, улыбаясь сквозь катившиеся по ее щекам слезы, посылала рукой ему поцелуи.

Зато когда они вернулись домой в свои большие комнаты, казавшиеся после яркого уличного света и оживления немного темными и мрачными, Марья Сергеевна вдруг почувствовала страшную пустоту... И ощущение этой пустоты не только не проходило в следующие дни, но даже усиливалось. Кажется, к отъездам мужа она привыкла уже давно и, подчиняясь необходимости, никогда особенно не скучала, а теперь... Теперь на нее напала вдруг беспричинная тоска, и Марья Сергеевна инстинктивно чувствовала, что тоска эта не по мужу. Она сама не знала, о чем скучает, но чего-то ей недоставало. Раздумывая порой об этом, она решила, что это происходит просто оттого, что, во-первых, между ней и Наташей пробежала черная кошка; во-вторых, потому, что они отчасти выбиты из обычной колеи: в городе становилось слишком пыльно и душно, ее невольно тянуло в зелень, на чистый воздух; в-третьих, в прежние годы Марья Сергеевна сама готовила дочь к экзаменам, теперь же Наташа переходила уже в третий класс, занятия осложнились, и Марья Сер-

геевна чувствовала себя уже не в силах лично подготавливать ее. Наташа знала положительно больше ее самой; при том она уверяла, что заниматься одной или с кем-нибудь из своих товарок по классу ей гораздо удобнее и потому редко даже бывала дома. Днем – в гимназии, а по вечерам или она уходила к одной из подруг «готовиться», или к ней приходила какая-нибудь из них, и они просиживали так часов до десяти, после чего Наташа, утомленная и усталая, спешила скорее лечь спать, чтобы иметь возможность встать на другой день пораньше.

К тому же сдержанность Наташи с матерью не проходила: девочка точно не хотела или не могла уже вернуться к прежней искренности и задушевности, и Марья Сергеевна, не раз делавшая попытки к сближению, чувствовала себя отчасти даже обиженной и незаслуженно оскорбленной. Порой это даже возмущало ее, и она сама становилась с дочерью суше и холоднее.

Но тогда тоска и одиночество снова охватывали ее. Не раз вспоминала она о Вабельском, ей очень хотелось поговорить с ним, посоветоваться, но с того вечера, когда они виделись, прошло уже около трех недель, а он не являлся. Сначала она все поджидала его, ей казалось, что он непременно должен прийти в днях, и, видя, что его все нет, она немного удивлялась и досадовала.

После того вечера, когда она так задушевно разговорилась с ним, она чувствовала к нему какую-то невольную симпа-

тию. Никогда еще не хотелось ей так иметь возле себя близкого человека — друга, с которым она могла бы поговорить и поделиться всем, что накопилось у нее в душе. Прежде у нее или не было такой потребности, или же этого друга заменяла ей Наташа. Теперь же, думая о Вабельском, Марья Сергеевна чувствовала, что именно он мог бы быть таким другом, какого ей недоставало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.